

**С.А.Зелинский**

**НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ  
ДНЕВНИК.  
ТОМ 2. ИСКУПЛЕНИЕ**

**2015**

## Оглавление

Пролог.....	4
Глава 1.....	5
Глава 2.....	5
Глава 3.....	6
Глава 4.....	6
Глава 5.....	7
Глава 6.....	8
Глава 7.....	11
Глава 8.....	12
Глава 9.....	13
Глава 10.....	16
Глава 11.....	16
Глава 12.....	17
Глава 13.....	18
Глава 14.....	20
Глава 15.....	21
Глава 16.....	22
Глава 17.....	22
Глава 18.....	24
Глава 19.....	25
Глава 20.....	28
Глава 21.....	29
Глава 22.....	31
Глава 23.....	32
Глава 24.....	33
Глава 25.....	36
Глава 26.....	37
Глава 27.....	37
Глава 28.....	37
Глава 29.....	38
Глава 30.....	40
Глава 31.....	41
Глава 32.....	42
Глава 33.....	43
Глава 34.....	44
Глава 35.....	45
Глава 36.....	46
Глава 37.....	47
Глава 38.....	48
Глава 39.....	49
Глава 40.....	49
Глава 41.....	50
Глава 42.....	52
Глава 43.....	52
Эпилог.....	55

С. А. Зелинский

Неопубликованный дневник. Том 2. Искупление. Роман

© Зелинский С. А., 2015

Текст печатается в авторской редакции.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

СЕРГЕЙ ЗЕЛИНСКИЙ  
«НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ДНЕВНИК». РОМАН.  
ТОМ 2. ИСКУПЛЕНИЕ.

*роман*

Неопубликованный дневник. Том 2. Искупление.

Пролог

Это почти невозможно прочувствовать вновь.

Это страшно испытать опять.

Это незачем... об этом незачем... не надо... нет... нет.

И быть может уже поэтому – я постоянно напоминал себе об этом. Как будто пытаюсь в прошлом найти ту спасительную нить, по которой мог выбраться из того кошмара, в который бросила меня жизнь... И там, где уже никогда не будет жизни. Ее – жизни. Той, которая любила меня самой отчаянной любовью. Любовью, казавшейся мне безумной. Любовью, от которой я бежал, прятался, и... возвращался опять к ней. К моей любимой. Но если б знал... Если б я только знал, что жизнь это не игра.

А быть может и игра. (Ведь именно так я думал всегда). Но только игра – по слишком шулерским правилам. Правилам, устанавливаемыми совсем не нами. Но почти все мы начинаем в нее играть, даже не задумываясь, что нас никто не удосужился ознакомить с правилами. А быть может - их попросту нет?

01.06.86

Когда это произошло, что я вдруг поймал себя на мысли что почти ничего не рассказал о своей матери – решил вдруг разом исправить ошибку. Рассказав о ней. Рассказав все, что знал.

Но начав, вскоре стал понимать, что говорю вовсе не о ней. А о какой-то другой женщине. Женщине, которую вдруг в одночасье вообразил вместо своей матери. Или быть может, считал я, что она и была моей матерью. Точнее, не считал даже – а отчего-то думал, что вполне могло бы быть. Да и было, наверное, в каком-то моем воображении. В том воображении, которое часто (как стал подозревать) в последнее время подменяет мое сознание.

И уже думаю я – что так верно все и происходит на самом деле.

Или – могло произойти...

## Глава 1

Она родила меня в тюрьме.

Быть может потому, почти что до сих пор передо мной (стоит закрыть глаза, погружаясь куда-то в глубины памяти) слышен распадающийся на множественное эхо звон металлических камерных дверей, электрический протяжный гул, шаги (сапоги... сапоги...) охранников... И ведь сколько прошло уже лет?... Двадцать семь?... Двадцать восемь?... Когда подошел возраст, достаточный (по закону) для моего отлучения от матери и отправки в детский дом – маму неожиданно отпустили. Вероятно, какое-то из ходатайств («бесплатный» адвокат на удивление оказался порядочным человеком) сыграло положительную роль, и мать вышла на свободу. А с ней и я.

## Глава 2

--Вы на самом деле считаете, что ваш сын безумно талантлив?— казалось вопрос выжидательно уставившихся на нее глаз из под очков этого сидящего (но еще не старого, - пронеслось у нее в голове) человека застал женщину врасплох. Но так лишь только казалось. Она умела держать себя в руках. Жизнь заставила. Но, тем не менее (словно подчиняясь установившейся среди таких же как и она посетителей привычке) женщина смущенно опустила глаза.

--Да,- чуть слышно ответила она. Но уже в следующее мгновение (как будто устыдившись сама себе) повторила свой ответ уже громче. -- Да, я действительно считаю, что мой сын способен на большее, чем он уподобился благодаря вашим (она сделала акцент на этом слове) экзаменаторам.

--Ну что ж,- неожиданно сказал директор гимназии.—Тогда, если вы так настаиваете, я готов сам принять у него экзамен. Кстати,- он сделал жест, словно пытаясь отыскать интересующий его ответ в бумагах, разбросанных на его столе,- чем объясняется то, что за последние несколько лет мальчик меняет уже третье учебное заведение?

--Тем, что я не ходила – как сейчас – к директору,- неожиданно твердо ответила женщина.

--И вы считаете...-- начал, было, мужчина, но увидев направленный на него решительный (быть может - даже слишком решительный) взгляд,- лишь откинулся в кресле, утвердительно кивнув головой.

--Хорошо. Я согласен. Считайте, что ваш мальчик зачислен,- устало произнес он.

### Глава 3

Мое сознание словно разделялось на несколько составляющих. По одному из них, как вроде бы ничего и не происходило. И остался я словно таким же. И отношение окружающих было все то же. И мое восприятие действительности... не было этой действительности. Ибо в том прежнем состоянии я находился уже все реже и реже. А на самом деле все больше наступала на меня какая-то другая жизнь. Или затемненная полоса жизни. И в ней почти все было иное. Совсем не такое как раньше. Как будто мою жизнь разом закрыло что-то необъятное и нескончаемое. И я уже не видел, не мог, как прежде, ни видеть, ни осознавать, ни даже как-то попытаться испытать то, что было раньше. Ибо прежний мир самым незадачливым образом отдалялся от меня. А я даже не пытался его догнать. Это было бесполезно. И не нужно...

И тогда уже мне на самом деле ничего не оставалось, как смирившись, наблюдать (в пассивном невосприятии действительности) за своими новыми ощущениями. Которых, быть может, и не было вовсе в привычном понимании. Потому как была передо мной одна лишь пустота. Пустота... И тревога. Тревога, странным и необъятным потоком разливалась внутри меня. И мозг с этих самых пор совсем потерял былую способность анализировать, выдавая нужный результат, которым я всегда гордился, информацию. А сама информация уже, конечно же, была не такой как прежде.

Возникает ли у кого вопрос о моем смысле жизни. Вернее – остался ли он? Нет. Не знаю. Я как будто внезапно стал находиться в каком-то ином измерении. И уже не спрашивайте меня – нравилось ли это мне. Я все равно не могу ничего сделать. Хотя, признаться, и пытался на первом этапе начинавшегося безумия... Но безумие ли это? Быть может это вполне адекватная плата за мои попытки. И в первую очередь – за мое отношение к ней. При жизни... При ее жизни...

### Глава 4

--Значит, - я обо всем договорилась,-- женщина в который уж раз посмотрела на своего сына, взглядом проверяя гармоничность выбранной ему одежды.— Если кто из учителей будет задавать вопросы...-- женщина на минуту задумалась,-- нет,- решила она,- вопросов быть не должно. Но ежели таковые у кого появятся – отсылай ко мне. Я им расскажу,-- и, не дослушав мать, мальчик вновь испытал это чувство уверенности, которое внезапно (и всегда неожиданно) заполняло его, и

благодаря которому ему разом становилось безразлично мнение окружающих. У него была мать. И мать способна была его защитить.

Да она, впрочем, так и стремилась всегда делать. Вернее, даже не стремилась. Нельзя было назвать стремлением то, что и так прочно (и навсегда) засело внутри. То, что слилось с ее «Я». И то, что воспринимается не иначе как вместе с ее же собственными поступками. Сливаясь с единой зарождающейся мыслью. Мыслью об освобождении собственного (и единственного) сына от жизненных трудностей.

## Глава 5

--А тебе не приходила мысль – что ты растишь «комнатного» ребенка?— пробовали ее увещевать подруги.

Но уже следующий подобный вопрос приводил к разрыванию с ними отношений.

Да и кто были они? В сравнении с ее сыном. Единственным сыном. И с ней самой.

Эффектная, с пышной гривой волнистых белых волос покрывающих плечи, с зелеными глазами, длинными ресницами, хорошо очерченными губами и невероятно «правильными» чертами лица (взглянув на которое не удерживаясь хочешь смотреть еще и еще), Людмила никогда не испытывала недостатка в желающих с ней общаться.

Позади нее был филологический факультет Ленинградского государственного университета и два неудачных брака: первый – еще в студенческие годы. После окончания института муж уехал на Родину, в Польшу, она отчего-то с ним ехать не захотела; второй – тоже за иностранцем, из посольства Франции; прожив почти год, ее мужем неожиданно заинтересовалось КГБ и он поспешно покинул Россию.

Памятуя историю с первым мужем – собиралась ехать и она. Да озадаченные таким поворотом событий «деятели» из Комитета «неожиданно» обнаружили у нее запрещенную тогда в Союзе иностранную валюту, и ей пришлось почти два года провести за решеткой, прежде чем признали, что деньги были не ее. Но за это время брак был расторгнут.

Привыкшая не останавливаться перед трудностями, Людмила одно время все-таки было впала в депрессию, оказавшись после освобождения как бы выброшенной из жизни. Но очень скоро оправилась, получив приглашение поработать переводчиком (она знала несколько европейских языков) в туристическом бюро. (В Ленинграде, где она осталась после окончания института – сама родилась в Тольятти, где и прожила школьные годы – такая возможность была).

Невысокого роста, с точеной фигуркой и заманчиво развитыми женскими формами, Людмила в отличие от своих многочисленных подруг (большинство из которых рассматривали дружбу с ней как возможность обратить на себя внимание тех мужчин, которые стремились получить Людмилино расположение) достаточно строго относилась ко всем попыткам своих «поклонников» перевести отношение в неофициальное русло. И насколько было известно мне – у нее так и не было никого вплоть до ее смерти. Ее внезапной смерти. Но об этом – позже.

## Глава 6

И вот ведь как... Да, вряд ли что иное могло получиться из этих моих воспоминаний, когда как-то тихо улавливаешь, что мысль как будто уже и не может больше таиться. А когда спешно хватаешь белоснежную бумагу, поднося к ней перо... как будто разом пропадает все то, что хотел написать... И где-то в подсознании начинает тихо выплывать нечто недописанное, и ты уже как будто и действительно не можешь (не способен) ухватить какой клочок того, о чем должен был поведать. И уже наоборот – это встает перед тобой мучительным грузом несбывшихся надежд, и ты пишешь, пишешь, пишешь, стремясь испытать облегчение в медленно увядающих строках. Потому как внезапно замечаешь, что это совсем даже не правда, а какая-то увядающая правда. Правда, которая как будто бы совсем не должна быть такой. И где-то там, в подсознании, ты вновь по крупицам собираешь все ненаписанное тобой. То, что по твоему убеждению должно непременно предстать перед воображаемым (ищущим) взором читателя. Так же как и ты стремящегося найти успокоение в беспорядочно-бесформенных строчках бывшего величия.

В какой-то момент (подозревая что он вот-вот наступит, а то и наступил уже) мне становится как-то по-настоящему обидно, что вроде бы совсем и не об этом следовало писать, а пишешь... ты пишешь как раз об этом... О чем?.. Неужели слепая (и достаточно неосознанная) вера еще способна удержать тебя от признания безнадежности рутинного многообразия. Ну а если понимаешь и это...

Ты вообще многое что понимаешь... И до сих пор не можешь ответить на вопрос – сможет ли это что-то дать лично тебе.

А если я думаю так?.. Если я на самом деле способен измышлять нечто именно в подобном ключе... то разве... разве невозможно не отыскать во всем этом многообразии (чарующем подчас именно своей запутанностью) то великое, что способно вывести к свету... Да и что мы понимаем под светом?.. Быть может суть одна, а пути к ней у всех разные...

.....

Я прошел по маленькому мостику, отделявшему одну часть тротуара от другой. Через дорогу (достаточно узкую, чтобы на ней могли уместиться сразу два автомобиля) была школа. Ну, или как стали величать ее с недавних пор, гимназия. Мать действительно смогла договориться, чтобы меня туда приняли. Вообще-то удивительно, никогда не испытывая абсолютно никаких трудностей в обучении – я иногда был способен приносить... не слишком хорошие оценки. Правда, было так от того, что я почему-то – закончив первые несколько классов без единой четверки – перестал обращать на «проверку знаний» всякое внимание, дав некоторым учителям возможность «расквитаться со мной за мои знания». (Примерно так я написал в объяснительной записке на имя директора, умоляя – по требованию матери - дать мне возможность пересдать те предметы, по которым оценки были ниже пятёрки). Почти совсем не веря в подобную забаву (о чем неприминул несколько раз заявить матери), я на самом деле удивился, когда тот согласился.

--Ты кто такой? – с некоторым вызовом (а то и угрозой) поинтересовался мальчуган (где-то одного возраста со мной тогдашним), пылливо уставясь на меня и пытаясь придать своему виду подобающую грозность.

--Буду учиться в этой школе,-- ответил я, собираясь (не задерживаясь) последовать дальше.

--Стоять! – воскликнул, было, парень, схватив меня за отворот школьной куртки (эх, лет-то нам было по 10-12), как я почти неосознанно слегка крутанулся на месте, подсев под него и дав ему возможность перелететь через мою (вовремя подставленную) спину.

Ожидая вполне бурной реакции сверстника, я удивился, когда тот выпучив глаза (а они и так были излишне навывкате, придавая сходство с перепуганной лягушкой) молча уставился на меня. А потом, видимо спохватившись – побежал по направлению к учебному корпусу. Куда направился и я.

Не знаю, стоит ли говорить, но по окончании занятий, которых я ждал со слишком явным нетерпением, боясь даже представить что будет со мной, мои опасения подтвердились. Взяв еще двух помощников – дуэлянт караулил меня у выхода из школы, ожидая видимо сатисфакции.

Конечно, мне несколько не хотелось доставлять ему такое удовольствие. Но что я мог поделать? В гимназии я был первый день. Мать с таким трудом – как она неприминула пояснить мне – добилась моего зачисления. Поэтому в первый же день устраивать потасовку – почти непременно означало бы поставить под удар и ее репутацию, и, вероятно (это тоже промелькнуло в моей голове) омрачить свое дальнейшее существование в недрах учебного заведения (к которому, впрочем, я не испытывал никаких – ни положительных, ни отрицательных – чувств) столь нелепой

выходкой (о чем можно было не сомневаться – завтра мне и заявят). Но ведь и выхода действительно не было. Или почти не было?..

--Валериан Евграфович,-- заметил я спину обогнавшего меня директора школы и по совместительству учителя истории...

Сейчас и не вспомню, что я тогда у него спросил. Да это было совсем и не важно. Правда, помнится, проходя мимо разинувших рты «потенциальных обидчиков» я не отказал себе в удовольствии непринужденно скользнуть взглядом по их лицам, словно и не понимая вовсе почему они не идут после уроков домой.

.....

Школьные года пролетели, почти не оставив в памяти каких-либо отчетливых воспоминаний. Вернее,- мне почти ничего и не хотелось вспоминать. Быть может оттого, что я не чувствовал... не чувствовал что было хоть что-то, чем я мог по праву гордиться? Учиться мне не хотелось. Вернее – не хотелось выходить куда-то из дома.

При желании я вполне мог пройти школьную программу и самостоятельно (если бы только знал, что кто-то мне подобное разрешит). И уже тогда – моим самым любимым занятием было чтение. Книги читал я запоем, проглатывая придуманные различными авторами сюжеты и переживая в своей разыгравшейся фантазии истории, прожитые не мной. К сожалению, не мной. И я любил, безмолвно уставившись в окно невидимыми глазами (не желающими замечать насаждаемую действительностью реальность), давать волю своему воображению.

Но иногда на меня накатывала волна какого-то абсолютного равнодушия ко всему. Причем, если было равнодушие – то в какой-то мере я считал что это и хорошо, вернее – еще ничего. Тогда как чаще всего мое угнетенное состояние – когда любые былые мелочи уже не воспринимаются такими, а лишь еще более усиливают эффект общего состояния, которое иначе как безрадостным – и не назовешь.

В такие периоды я отчетливо понимал, что моя жизнь вовсе не возможность достичь всего того, что планировал ранее, вернее, все вокруг – не выглядит в тех тонах, которыми их раскрашивало мое воображение в периоды относительной стабильности.

Наоборот. Все было плохо. Необычайно плохо. Так плохо, что почти единственным спасением, способным хоть как-то прекратить эту пытку, я мог считать только внезапное прекращение существования.

Мне вовсе не хотелось жить. Не хотелось никогда. И если я еще доселе цеплялся за остатки (необходимости) существования, то это было лишь... вынужденной мерой.

Нет, я нисколько и никогда не считал, что наступит какое-либо избавление... Я не мог бы в это поверить. Для меня подобная надежда (а вера – это всегда надежда) значила бы несравненно много. Быть может даже намного больше, чем для всех других. И быть может, зная свое такое состояние – я вынужден был достаточно аккуратно относиться к восприятию всего, что было вокруг. Потому как, появляющиеся при этом негативные эмоции – способны были вызывать что-то вроде сбоя – итак не слишком стабильного состояния психики. А это в итоге и приводило к желанию смерти.

## Глава 7

Мальчик всегда испытывал жуткое неудовольствие от того, что мама его не понимала. Вернее – он считал, что она не понимает его. Не способна понять.

--Быть может так происходит оттого, что они очень мало бывали вместе?— иногда думал он, и инстинктивно тянулся к этой красивой и в общем-то заботливой женщине.

Но самое любопытное было в том, что на самом деле, - где-то в потаенных уголках души, - Глеб (так звали мальчика) знал, что мама его любит. И даже больше – он понимал, действительно понимал, что все, что делает мама – продиктовано исключительно заботой о нем. Хотя, опять же, и это на многие годы казалось ему неразрешимой загадкой – ставил ей в упрек именно равнодушие к нему.

Почему так получалось? Почему он, все более чем прекрасно понимая, считал чуть ли не своей обязанностью обвинить мать в несуществующих грехах? Почему?.. А ведь он в большинстве случаев даже боялся (не хотел, не считал нужным) всерьез задуматься об этом. Потому как, если б он только захотел... Если б он действительно (вдруг) решил бы разобраться в этом вопросе – почти непременно (можно быть уверенным) смог бы сделать для себя нужные выводы. Как раз те выводы, после которых подобное бы наверняка прекратилось...

Но что тогда стояло за подобным нежеланием вникнуть в суть своего поведения? Стремление казаться грубее, чем был по своей природе?.. А ведь это, пожалуй, еще одна загадка его существования. Загадка, непоправимо изменяющая весь облик (морально-нравственный?) этого человека. Этого, в общем-то, мальчишки. Романтика в душе – но по каким-то причинам стремившегося всяческими силами избавиться от своей «романтичности».

Быть может тогда грубость можно было инсценировать как стремление не только самоутвердиться, но и выжить? Хорошо это или нет – другой вопрос, но человек со слишком

ранимой психикой вполне мог и не видеть иного пути, как просто стать таким же жестоким, как и окружающий мир. А в том, что мир жесток – мог сомневаться лишь только душевно больной человек, живущий, опять же, в каком-то своем мире, и оттого – не замечающий ничего вокруг. Человек, у которого нарушена функция «тестирования реальности» (термин, прочитанный Глебом в одной из книг по психопатологии).

Но было поистине жаль, что, даже учитывая (и в какой-то мере оправдывая) необходимость подобного поведения, Глеб каким-то образом исключал возможность нанесения душевной травмы – маме. И если это было так – то уже тогда ничто не может оправдать «мотивы» поведения. Можно вспомнить слова Достоевского о слезах ребенка, но слезы матери...

## Глава 8

Я часто думал: а могли ли мои отношения в мамой складываться каким-либо иным образом? Способен ли был я на то самопожертвование, которое читалось в каждой ее морщинке, появившейся из-за моего показного равнодушия к ней. К чему была моя такая внешняя зажатость? Почему я так боялся при ее жизни ей признаться в любви? Что вообще скрывалось за внешним равнодушием? Не думаю, что подобное состояние было у меня и внутри. Ведь я на самом деле – любил ее. Я доверял ей свои (некоторые, почему-то некоторые) мальчишеские тайны. Хотя быть может, тогда мне казалось, что я раскрываюсь в полной мере?.. Но ведь это было не так... Или не совсем так...

Видно с каждым мной прожитым годом – подобных вопросов будет становиться все больше. А реальных ответов...

Я почти не вспоминаю об отце. Но так уж вышло, что в своей жизни я ни разу его не видел. Вернее – так и не увидел. (Мне было известно от матери, что почти тотчас же по возвращении его в свою страну – он погиб от рук алжирских террористов. В посольстве прогремел взрыв. А он оказался в эпицентре...)

Тогда, при жизни мамы, она делала все, чтобы я ни в коем случае не чувствовал свое одиночество. Вернее, чтобы я не чувствовал утраты отца...

Моя мама стремилась заполнить в моей душе возможную пустоту. И я почти на самом деле ни в чем не нуждался. Я не нуждался в нем... Но вот теперь – когда рядом со мной нет мамы – мне вдруг мучительно стало не хватать их обоих.

Иной раз состояние беспомощной безысходности накатывало на меня, и в такие минуты у меня разом пропадала способность к какой-либо реальности. Быть может именно тогда –

реальность стала постепенно вытесняться некой иллюзорной подменой образа. Образа окружающей действительности. В которой мне неожиданно становилось значительно легче жить, чем это должно было быть на самом деле. Но я не мог, я никак не мог найти спасение. Ведь спасением вполне могла быть моя способность (вернее – вынужденная необходимость) ни о чем не думать. Но как бы я не стремился к этому – подобного мне не удавалось. Хотя, быть может, я и действительно хотел. Но если разобраться – то практически ничего плохого и не могло быть в том, что настоящий мир подменялся иллюзорным, вымышленным. В какие-то периоды жизни я даже перестал этого бояться. И не пытался – как ранее – бежать. Хотя возможно ли убежать? К чему могло привести это бегство от себя? К еще более страшным последствиям?.. Ведь было верно, что я никак бы и не мог подумать о том, что возможно вообще спасение от всего этого. Покажется удивительным, но вот в таком вот положении вещей почти не было ничего связанного с каким-либо (даже отдаленным намеком) разочарованием в жизни. Совсем даже нет. Единственно, в чем можно было признаться, это какое-то параллельное существование нескольких жизней. Точнее – и жизнь-то была одна. Но вот ощущение сопричастности к чему-то потустороннему... Причем даже все это виделось в каком-то ином, совсем другом свете. И даже не само существующее положение дел, а именно мое несколько извращенно-запутанное осознание сего факта... Факта периодически исчезающей действительности. Той действительности, которая как будто и была на самом деле, но иногда начинала видится мне в ином свете. Под другим углом, в ином ракурсе... представления.

Стремился ли я найти компромиссный вариант существования?.. Вариант, вероятно похожий больше на какое-либо выживание... Но за нахождением подобной возможности (то есть если бы даже это было так) я почти исключал какую-либо веру в то, что это был на самом деле реальный выбор... Не верил я в это... Почему?..

## Глава 9

Порой мне кажется, что я никогда и не жил-то в настоящем мире. Сюжетные линии вокруг меня всегда удивительным образом получаются вымышленные (и придуманные). Но зачем придумывать настоящую жизнь?..

.....

Женщина запахнула потуже воротник и слегка приподняв подбородок – гордо вышла из подъезда. У нее сегодня неожиданным образом образовались новые дела. Вот уже полгода как она верно служила переводчиком в одной туристической конторе, но душа просила чего-то значительно большего, чем могла ей предложить действительность. Правда для этого как минимум требовалось знать, что она хочет. Но она это всегда знала.

--Вы знаете, до меня стали доходить не слишком хорошие слухи,- многозначительно посмотрев на нее, произнес Карп Геннадиевич Лихонос, отчего-то слишком быстро стареющий директор того туристического агентства, где трудилась Людмила. Все знали, что ему нет еще и сорока, но выглядел он на все шестьдесят.- Вы на самом деле подумываете о том, чтоб уйти?

На миг женщина смутилась от подобной пронизательности, но взяв себя в руки – честно во всем призналась Лихоносову. И в том, что вынуждена одна растить сына, и в том, что работать в женском коллективе (со всеми теми абсурдными проявлениями зависти – в чем?) невероятно сложно, и в том, что она всегда хотела достаточно получать за свой труд...

--Ну, этот вопрос мы можем закрыть хоть сейчас,-- чему-то обрадовавшись, перебил женщину Лихонос.-- Я давно уже искал возможность повысить вам заработную плату. Если желаете – совет акционеров (все знали что акционерами были сам Лихонос и многочисленные его родственники, преимущественно проживающие в отдаленных уголках страны и зачастую даже ни о чем не догадывающиеся. Лишь только раз – когда-то – потребовалось их номинальное согласие) значительно – вдвое – повышает вам зарплату, а я приглашаю на должность своего заместителя. Лосев (речь о заме Лихоносова) все равно собирается уйти, и мы как раз только недавно с ним подыскивали замену. Выбор пал, кстати, и на вас тоже. Вернее вас порекомендовал он, а я согласился,-- немного смутившись, добавил Лихонос, сохраняя в принципе неплохую привычку говорить правду. Вернее, он всячески старался соответствовать подобному образу правдолюбца, ну а так как на самом деле был достаточно труслив и слаб, то просто уже и опасался менять мнение о себе в глазах окружающих.

--Ну, тогда, если позволите, я даже не буду думать, а сразу соглашусь,- догадавшись, что у нее нет никаких оснований чему-то противиться – согласилась с предложением Лихоносова Людмила.

--Если не возражаете,- с видом человека, у которого упал камень с плеч, произнес Карп Геннадиевич,- я дал вам отпуск на недельку-две – а потом сразу выходите и вступайте в должность. Теми более со спецификой темы вы, в общем-то, знакомы.

Людмила настолько искренне кивнула, соглашаясь со словами директора, что у того даже выступил – против обычного – на щеках легкий румянец. Почему «против обычного» - так, по крайней мере, ранее подобное случалось всегда, когда Лихонос кого обманывал. Но вот какое-то время Лихонос как будто бы избавился от такой вот нехорошей привычки. И румянец как будто исчез. И вот теперь опять. Но ведь он нисколько не собирался обманывать эту женщину. Она даже ему в чем-то нравилась. Нет, не сказать, что он бы мог с ней жить (хотя был также одинок как и она). Вернее – он может и хотел бы. Да зная ее порой слишком крутой нрав (и откровенную

прямоту, которую она не собиралась скрывать), он, признаться, попросту опасался быть когда-нибудь пришибленным ее же словами. Причем ему, пожалуй, было абсолютно безразлично – выжалось бы это в каком физическом акте (например, достаточно внезапный, чтобы успеть на него среагировать, удар каким-нибудь предметом по голове), или чисто в эмоционально-словесном. И то и другое для него было бы слишком ужасным. Уж очень его психика была неприспособлена для каких-либо «атак»; тем более со стороны женщины...

Оставив Лихоносова с его разыгравшимся воображением, Людмила весело шагала по проспекту. Теперь вроде как и не было повода к беспокойству. Правда, впереди еще было несколько нерешенных вопросов (которые необходимо было закрыть за сегодняшний день), но она почти не переживала об этом. Она была уверена в своих силах. И знала, что у нее все получится.

Причем, если разобраться, то она никогда и не допускала, чтобы проблемы когда-нибудь подменяли ее нормальное существование. Вернее – мешали ему. Почти с раннего детства привыкши полагаться на саму себя (родители почему-то ей в этом были только помехой; ну или, - что было на самом деле, - ни в чем бы, даже если б захотели, не смогли бы ей помочь), Людмила и сейчас была уверена, что справится. А почему бы и нет?..

.....

Насколько было известно мне, бабушка и дедушка (а так вышло, что истории своих бабушки и дедушки я знал исключительно с воспоминаний моей мамы) погибли от внезапно вспыхнувшего в их доме пожара, когда мне было всего несколько лет отроду. И бабушка Катя и дедушка Аркадий работали вместе в каком-то конструкторском бюро (были инженерами?). Всю жизнь они трудились над каким-то до сих пор непонятным моему пониманию проектом, и погибли ночью, сгорев в своем загородном домике.

Что мне было еще известно о бабушке и дедушке (о родителях отца у меня вообще никогда не было сведений), так это то, что в своей жизни ничего кроме работы они старались не замечать. При этом где-то подсознательно были рады успехам своей дочери (все детство стремившейся проводить за книгами, а не за игрой с подругами), достаточно замечательно учившейся и в школе и в институте. Но отчего-то не считали необходимым это показывать. Что скрывалось за их строгостью? Уж очень мне бы не хотелось верить, что недостаток ума да излишне мешанские вкусы. Но что-то иное на ум и не приходит.

Быть может потому, я просто не мог испытывать каких-либо гипотетических чувств к своим бабушкам и дедушкам. А искусственно выдумывать их образ...

## Глава 10

Может покажется занимательным, но мне никогда не было жаль маму в ее ранних годах детства. Нет, конечно же, я всегда подозревал, что здесь во мне что-то неспроста, и каждый в меру совестливый человек был просто обязан (как минимум) прочувствовать все, что когда-то происходило с ней, а потом прослезиться. Но вот в том-то и загадка, что ничего подобного у меня никогда не было. Иной раз какие-то непонятные (непонятные, потому как базировались они исключительно на воображении от рассказов – может тоже вымышленных,-- но уж никак не увиденном мной лично) воспоминания начинали будоражить мое сознание; и тогда я живо представлял маленькую девочку-подростка, с трудом выискивающую любой повод, чтобы сделать школьное домашнее задание, и как особую роскошь воспринимающую право (или всего лишь возможность) углубиться в чтение какой-либо книги.

В остальное же время – девочка почти всецело была занята работой. Работой по дому (проживая в частном одноэтажном домишке где-то на окраине города, родители мамы, несмотря на специфику профессии – умудрялись еще держать и домашний скот). Корова, куры, гуси, кролики и свиньи – забота о них с каких-то пор стала неотъемлемой задачей юной девочки. И ведь нельзя было сказать, что ей это нравилось. Но видимо уже тогда, в те годы, появившаяся привычка стараться во всем видеть только хорошее – помогала (а то и значительно) скрашивать проживание Люды в родительском доме. Да мне кажется, что она и не сожалела особо ни о чем. Хотя, пожалуй, как раз-то в этом я и ошибаюсь. Несколько раз, слушая ее рассказы о детстве – я как бы случайно отмечал про себя вдруг погрузневшее (на миг... на миг...) ее лицо...

Но тогда то, что она ни о чем подобном старалась не говорить – вероятно объяснялось ее излишней (и мне всегда казалось что не нужной) требовательностью к себе. Так что, подвергая достаточно строгому цензурному отбору все происходящее с ней, была б ее воля она с удовольствием и не говорила бы ни о чем подобном. Но видно не во всем может человек следовать выдуманному образу (уже отсюда диктующему и свое – то есть соответствующее – поведение). Потому иной раз и прорывались сквозь жесткую оборону какие чувства. Чувства, без сомнения, свидетельствующие о ранимости души, и уже отсюда – создавалось сожаление об излишней к себе же и требовательности. И ничего с этим нельзя было поделать. Ну, или почти ничего...

## Глава 11

Вы знаете... В моих воспоминаниях о маме – мне хочется практически полностью исключить упоминание каких бы то ни было имен. Вероятно это связано с моим подсознательным нежеланием делить ее с кем-либо, замечать, что в ее жизни помимо меня был кто-то еще... Причем

сейчас, по прошествии нескольких лет после ее смерти, она мне кажется настолько близкой (и находящейся где-то рядом), что я не способен даже подумать, что она могла еще с кем-то общаться.

Нет, это ни какой-то местечковый эгоизм (хотя и всячески смахивает на него). Подобное, вероятно, следует представлять себе куда значительно шире, чем просто сыновняя любовь к матери. Ибо вокруг этой самой любви – уже после смерти – сложился такой ореол из невысказанных да недосказанных слов, что поистине, пустив я это на самотек – и вполне развилась бы более чем благодатная почва для обретения какой-либо собственной веры, на основе полета зачастую несуществующих иллюзий, несбывшихся фантазий, да не востребованных надежд. И вот за этой самой не востребованностью... недоговоренностью... недосказанностью... вероятно и скрывалось то самое, что давало ответы на многие, ранее вроде как и не замечаемые вопросы.

Но уже видимо так получалось, что я ни за что не способен был принять в наш с ней мир кого-то еще. Хотя в моей душе всегда жил если не экспериментатор, то большой любитель всяческих неординарных обстоятельств. И потому, видимо, если бы на то действительно появилась какая необходимость – я бы вероятно способен был достаточно нейтрально отнестись ко всему увиденному. Ну, или постараться, чтобы это было так. (Хотя опять же... смог бы я не замечать...)

И тогда уже мне остается поистине возрадоваться (высказав неподдельное удовлетворение) тому, что мама решила наметившийся вопрос достаточно просто – взяв да исключив (напрочь и бесповоротно) даже возможность возникновения нечто подобного. Поистине, в который уж раз мне доставляло эстетическое удовольствие отмечать в своей памяти некие схожие моменты. Которые, по сути, были достаточно различны, - но сходились в одном: в существующей у этой женщины способности к предугадыванию событий. Многих событий. Но не всех. Потому как почему она тогда допустила свою смерть. Смерть, в достаточно еще раннем возрасте. Впрочем... она ведь знала и о ней... И потому за несколько дней до наступления ее – успела со мной попрощаться... А я... да разве верил я тогда что все будет всерьез...

## Глава 12

Мне более чем хотелось быть одному. Можно даже сказать, что это было одним из главных моих желаний. Желаний, смысл появления которого почти совсем не следовало искать в каком-то через чур загадочном стремлении к одиночеству. И в то же время – мое желание одиночества в иные разы становилось столь явственно, что я почти не считал нужным что-то скрывать от окружающих. И уже тогда (в моем варианте), - одиночество было как раз тем, что по праву способно было меня хоть как-то смирить с необходимостью существования. Потому как не было для меня сейчас ничего важнее да желаннее, - чем просто-напросто остаться наедине с собой.

...Хотя, признаться, разве я не был один?.. Сейчас, после смерти единственного человека, которому я по-настоящему верил и доверял – мне более чем пришлось осознать, что вроде бы и ничего больше не изменится. Не изменится в лучшую, какую бы то ни было, но положительную сторону. Ибо худшее...

Самое худшее я мог вкушать, наслаждаясь от нахождения на той грани, где уже достаточно призрачно разделяются бытие, истинная реальность,- и состояние, когда некогда всепоглощающая действительность начинает куда-то улечиваться, исчезать,- и всего лишь через суматошный миг осматриваясь по сторонам – ты как будто уже и не замечаешь ничего. Все ушло... Исчезло... Превратилось в нечто неосязаемое (ибо присутствие его я по каким-то признакам еще угадывал),- но уже совсем даже нет никакой возможности... вернуть?... А надо ли возвращать?.. Ведь быть может вполне неплохо оставить и так... а?!

Я наслаждался одиночеством... По всей видимости это как раз то состояние (чуть ли не единственное), при котором я впервые мог никому не лгать... Никому... А значит и (в первую очередь) себе... Состояние, при котором я наконец-то мог сбросить ту маску, с которой не расставался никогда... И в последнее время – даже во сне... образ, тот мой (преимущественно выдуманный) образ, который, как я считал, способен был меня уберечь от сносного существования (переменив его на полярное) – в какое-то мгновение растворился... И уже я сам (а вроде как – и уже не я) чувствовал себя настолько обновленным, что казалось – ничто вокруг не способно будет помешать насладиться – пусть призрачной – но гармонией... Той самой гармонией, к которой, быть может, каждый и должен стремиться (и стремится), но которую на самом деле способны достичь лишь единицы...

Знал бы я тогда что это продлится недолго... И уже на смену внезапно накатившей волне счастья – пришла такая тоска, что если бы позже не появившееся беспричинное беспокойство, я считал бы что все кончено. Вернее – как избавление – должно закончиться... Да и что на самом деле мне оставалось еще желать?.. Я как-то разов разуверился в перспективе улучшения своего состояния... И мне все как-то (напрочь и бесповоротно) опротивело... Так – что уже совсем ничего и не был способен ожидать... И мне не на что было надеяться... Неоткуда было ждать помощи... А сам себе помочь я был не в силах...

Что это было?.. Что это было – как не начало конца... В какой-то мере даже запрограммированного...

## Глава 13

Незримо (и ужасно навязчиво) вторгается эпизод с детства. Мы были тогда на юге. Вероятно, используя какие-то свои связи, мама добилась, чтобы нас разместили в каком-то ведомственном санатории. Люди вокруг были невероятно приветливы и добродушны. Персонал так вообще, казалось, готов был исполнить первое же ваше поручение.

Помню, я самым любопытным образом подружился с одним занимательным (по излучаемой им энергии) дядечкой. Мне тогда было десять. Ему – лет пятьдесят. Сошлись мы на любви к шахматам. Видя, как я расставляю шахматы (большие, в холле), собираясь играть сам с собой – он предложил мне партию. Видимо я тогда смутился, поэтому он поспешил объявить мне, что дает фору – будет играть без ферзя. С трудом мне удалось его уговорить, что этого делать вовсе не стоит. Улыбка с его лица исчезла ходу на десятом. А еще через семь ходов я ему поставил мат.

Спохватившись, мужчина тут же предложил сыграть еще партию. На этот раз все закончилось еще раньше.

--Что же ты не сказал, что занимаешься в шахматной секции?!- как-то обижено (что выглядело забавно в контексте его недавнего веселья) произнес он.

--А я нигде не занимаюсь,- немного удивившись такому его предположению, ответил я.

--А откуда же ты так хорошо играешь?

--Сам научился,- тихо ответил я, словно признаваясь в самом страшном грехе.

--По книжкам?

--По книжкам.

Чуть позже, встретив своего знакомого у лифта (мы с мамой спустились, он с женой готовился подниматься) и поймав его лучезарную улыбку вместе с одобрением моей маме – («какой хороший у вас сын»), я узнал от немного обескураженной (таким моим знакомством) мамы – что этот мой новый «приятель» - заместитель министра. Вот так вот.

А вообще, если задаться целью что-либо понять – то вполне можно признать, что мои периодически вспоминаемые эпизоды из детства – почти не иначе как попытка это самое детство удержать. Причем вышло так (и это неким косвенным образом объясняет навязчивость подобного желания), что мое детство каким-то странным образом вышло из границ отмеренного ему природой и растянулось вплоть до тех пор, когда мама еще была со мной. Она жила – и давала своим присутствием возможность жить мне. Вернее, ее существование каким-то образом оправдывало и мое. И еще. Тогда, когда у меня все это было – я почти совсем и нисколько об этом вот и не задумывался. Словно не замечая ничего, что способно было выходить за рамки общеустановленных норм и ценностей.

И вот так сложилось теперь – что я вынужден сам себе признаться: я должен был остаться один, чтобы осознать в полной мере все что случилось.

А ведь думаю я сейчас: не было бы той моей беспечности тогда – и насколько много можно было бы успеть сделать...

В какой-то мере мне даже кажется, что это, своего рода, вынужденное противостояние (ну например, чтобы мир слишком быстро не прогнал отмеренное ему в мироздании время). Ведь стоило только допустить, что тогда, когда у наших родителей еще почти максимально развитые интеллектуальные возможности – мы слишком малы, чтобы в полной мере воспользоваться результатами их воспитания. А когда вырастаем мы, то бывшие возможности родителей или уже не те, или – как в случае со мной – уже родителей и нет в живых.

И уже тогда ты начинаешь жить с каким-то новым ощущением... Ощущением своей полной ничтожности. Ничтожности от того, что ты просто – не успел...

## Глава 14

Меня всегда удивляла наивность матери. Иной раз доходило до того, что я, такой же наивный мальчишка, возмнивший себя вдруг взрослым – пытался ее учить.

И было удивительно – она реагировала на мои советы. Что-то корректировала. Изменяла. Улучшала. Стремилась сделать так – чтобы мне понравилось.

Не думаю, что я в то время в полной мере оценивал, что мама – идет на, своего рода, жертву. Жертву – ради меня. Мою (юношескую) заносчивость, гордыню, в какой-то мере даже жестокость – она лечила смирением. Своим смирением по отношению ко мне. И, думается, в какой-то мере (хотя бы подсознательно) стремилась раскрыть мой духовный потенциал. Быть может – сформировать у меня собственное мировоззрение. Добиться максимально использовать то, что было заложено природой.

И это означало только одно: она мне верила.

И уже это означало что-то еще: что я был откровенным мерзавцем. И если вернуться к разговору, начатому в предыдущей главе – стоило мне в юношеские годы обладать хотя бы частицей нынешнего понимания жизни – и все можно было повернуть иначе. По крайней мере – сделать маму счастливой.

Хотя уже думаю сейчас – она ведь вполне и могла считаться таковой. Хотя бы потому, что в ее активе (уже изначально) было то, чего были лишены другие. И на первое место можно было поставить – интеллект. Потом – уверенность в себе. В какой-то мере – жизнелюбие. Но поистине – разум перевешивал все. Даже красоту. Красоту, которая итак открывала перед ней множество

дорог. Предоставляя редкую возможность выбора. Ведь большинство – были лишены этого. Они должны были довольствоваться обстоятельствами. Лишены права выбирать тот или иной путь. Тогда как она...

## Глава 15

Если вспомнить отношения мамы с мужчинами, то, признаться, в моей памяти более чем активно начинает включаться механизм сопротивления. А через какое-то время (перепробовав еще ряд неудачных попыток) я вынужден смириться. Быть может и правда никого не было? Быть может и правда она посвятила жизнь исключительно мне? И даже если это было не так (или – не совсем так), то мои попытки воскресить в памяти что-либо иное – по меньшей мере недостойны сыновней любви.

Но ведь я и не могу идти наперекор самому себе. Если я решил вспомнить все, а значит создать правдивый портрет Людмилы Аркадьевны Штерн, то это почти означало то, что я не должен ни в коем случае останавливаться. А тем более подменять реальные факты биографии – некими аллегорическими домыслами.

Но уже с другой стороны – почти ни одна жизнь не состоит лишь только из видимого, явно заметного, слоя. Подобный взгляд – выражает все тот же однобокий подход, которого я и стремился избежать.

И если пытаться говорить о том, что было в реальности – то мы уже так или иначе вынуждены нивелировать эту самую реальность. А если быть точнее – подменять одно какое-то (зачастую – кажущееся) восприятие – другим. Тем, чего быть может и не было на самом деле. Но оно почти наверняка – было. Именно – было. Потому как, также как одни и те же события можно рассматривать с разных сторон (и в зависимости от подхода формировать свое мнение о сути вещей), то почти точно также – и отдельно взятую биографию (состоящую, опять же, из многочисленных фактов) можно интерпретировать с различных плоскостей восприятия. И за этой многогранностью – в какой-то мере и будет скрываться истина. Именно так, а не иначе.

А если что-либо каким-то образом выпадает из сложившихся образов и стереотипных штампов – то это никак не может свидетельствовать о правде. О том, что было истинно. А подобный вопрос тогда подменяется каким-нибудь ложным восприятием.

Почти точно также и с мужчинами моей мамы. С одной стороны, они может и были. Как были и какие-то неясные звонки, загадочные взгляды, томливость (скрываемого) желания и тоскливая задумчивость. Но уже с другой – трудно было отыскать хоть один факт, который явно бы позволил говорить о чем-то, что было в реальности. Так что – неуместность моего предположения о

наличии кого-либо – как бы отпала сама собой. И можно было вполне считать – что ничего и не было.

Но так ли было на самом деле?..

## Глава 16

Когда я начинал вспоминать о прошлом – мне было достаточно сложно откреститься от ощущения собственного непонимания. Словно создавалось впечатление, что я что-то упускаю, что-то – неверно истолковываю. А иной раз подбирались и совсем нехорошие мысли. Как будто на самом деле – ничего этого и не было. И я заново пытаюсь придумывать совсем несуществующий мир. Мир, в котором почти никого кроме нас с мамой и не было. А если кто и был – то это лишь тени. Которые рождали почти точно такие же иллюзии. И ведь нельзя было сказать, чтобы я так уж заблуждался. Подобных сомнений не должно было быть. И в реальности – был я. Была – мама. И вполне возможно, что был кто-то еще. Но вот кто – это меня почти не интересовало.

С недавних пор мир словно принял совсем иную (неузнаваемую) окраску. И то, что в былые времена казалось значимым – каким-то образом потеряло свое значение. Вернее, мне стало до него почти абсолютно все равно. И даже будущее несколько не ободряло. Ничуть не приоткрывалась некая завеса над тайной. И в одно время все казалось невероятно будничным и обычным. А в другое...

А другого времени почти что уже и не существовало. Быть может – мне оно было все равно. А может оно и было таким. Хотя и верно почти наверняка, что все на самом деле выглядит таким – как мы об этом думаем. А мысли наши об этом предмете – каким-то загадочным образом взаимосвязаны с тем, под каким углом, в какой плоскости собрались мы рассматривать тот или иной предмет. Почти непременно именно от этого – зависит наше восприятие. Если хотите – оценка данного факта. Факта, который не имеет (да и не может иметь) какого-то одного значения. И быть может уже от того – в разное время видится нам совсем по-разному. В различных, так сказать, состояниях.

## Глава 17

Так вышло, что я не знал своих ни бабушек, ни дедушек. И если родители отца (воображаемые родители – воображаемого отца) быть может должны еще быть живы и поныне (хотя это не больше чем предположение), то я иной раз проклинал тот несчастный случай, который не позволил мне знать родителей мамы – бабу Катю и дедушку Аркадия.

Что я знал о них? Чем была вызвана их невероятная, насколько я знал, строгость к моей маме – их дочке? Неужели правда, что они всегда были почти исключительно погружены в свою работу. Стараясь (может, опасаясь?) что-то замечать вокруг. И изменилось ли бы их отношение, если бы они были живы? Мог ли я бы, например, поехать к ним сейчас? Поделиться...

Вот в чем вопрос: я просто искал возможности с кем-то поделиться своими мыслями. Быть может это было связано с тем, что я был излишне замкнут? Необщителен? Но ведь мне на самом деле приходилось подолгу «настраиваться», когда на горизонте вырисовывалась (хоть призрачная) необходимость общаться с кем-либо. Притом что на самом деле – никаких заметных причин к препятствованию какого-либо коммуникативного контакта никогда не было. При случае я вполне мог общаться. И даже бывал достаточно разговорчив. Но так выходило, что этого самого случая я не ждал. Опасался, может даже опасался его. И любая возможность какого-либо общения – для меня всегда оборачивалось необъяснимым волнением. Волнением ожидания – этого самого общения. Потому как, страшно для меня была сама необходимость коммуникативного контакта. Повторюсь, ожидание его. И когда он все же случался (и ничто мне не помогало избежать), а особенно после него – я чувствовал невероятный подъем сил. Как будто мне долго досаждала какая-то проблема, а теперь я с невероятной легкостью от нее избавился. И мне нисколько не хотелось больше вспоминать о ней. Также как почти тут же проходили и все недавние страхи, тревожности, беспокойства. Я начинал ощущать себя совсем иным человеком. Как будто что-то действительно изменилось во мне. И нисколько не хотелось возвращаться в прошлое. (Да и оно – что удивительно – уже не казалось мне каким-то страшным да отвратительным. Я совсем не боялся его).

Но вот насколько долго подобное состояние, состояние необъяснимой эйфории, могло продолжаться. Ведь я достаточно реалистично (а значит – и пессимистично) смотрел на окружающий мир. И отчего-то был уверен, что он вскоре принесет мне очередную неприятность. А значит – только вопрос времени: когда это случится.

И ведь не было мне от этого никакого покоя. Иной раз в своем воображении я доходил и вовсе до невероятного. И тогда можно было сказать, что я невероятным образом вызывал в себе подобное состояние. Состояние – ожидания какой неприятности.

Но, несмотря на ожидание, у меня никогда не было никакой готовности к ней. Когда она действительно случалась. И тогда словно бы перематывал назад хронику окружающего меня кошмара. Ибо почти неизменно повторялось все - и было все - точно также. Та же необъяснимая тревожность накануне. Тот же страх, в каких-то только ему одному известных пропорциях

перемешивавшийся с беспокойством, сомнениями, неуверенностями. И почти непременно характеризующийся появлением раздражительности. Тоски. Вины.

И именно от вины – вины за необъяснимое нечто – я страдал больше всего. И уже именно вина, само появление этого чувства – самым незадачливым для меня образом сопровождало мое существование. И иной раз так выходило, что уже и должно было наступить избавление от страдания, потому как с очередной невероятной легкостью решалась проблема, но ничего похожего не было и в помине. И я мучился от этой самой вины. Вины – за какие-то несуществующие поступки. Вины – за нечто гипотетически невыполняемое никогда. И уже именно от этой самой вины – мне не было никакого спасения. Но почему?

Почему? За что? Я отчего-то слишком часто стал думать над этими вопросами. Ведь так или иначе – но я должен был отыскать причину. Причину ее возникновения. (Ведь неким таинственным образом я надеялся, что после этого наступит и избавление от самой проблемы).

Насколько я был прав в своих догадках? Насколько эти предположения несли в себе какое-нибудь конструктивное начало? Насколько я вообще мог рассчитывать когда-нибудь от всего похожего избавиться? Верно – это было совсем невозможно. Ибо стал я подозревать, что все эти появления того, что вполне можно было отнести к симптоматике (будущего?) заболевания – дано мне в качестве наказания. А значит – и искупления. Быть может даже нравственного очищения.

Но насколько я был к этому готов?..

## Глава 18

Вспоминаю о маме,- и практически тотчас же спускаюсь в плоскость идеализации. И ведь самое загадочное: идеализация эта – вполне даже не вынужденная (свойственная психике реакция в случае смерти близких). То есть на самом деле – моя мать своей жизнью достаточно легко вписывалась в рамки как минимум двух конструкций: а) она действительно была такой; б) ее действия были подчинены стремлению оставить о себе память как о «такой».

Проблема разрешить наметившееся противоречие – почти исключительно (и заранее) обречена на провал. А значит – следует принять какую-либо одну точку зрения.

Но что выбрать?

Интуиция явно подсказывает, что для разрешения данной загадки – следует ответить на вопрос: к какому возрасту больше отношу себя я? Ведь если поставить в скобки мои собственные годы (которые уже приближаются к тридцати), и – как бы дистанцируясь от них – явить на первый

план образ того человека (своего рода – маску), с которым позиционирую себя я – то тогда следует разобраться: сколько мне лет.

Если начало двадцати,- это одно. Если, например, середина тридцати – уже другое.

А дело все в том, что молодым людям большей частью свойственно обожеествлять ушедших из жизни родителей. И тогда – мне следовало признать: моя мать – была именно такой, какая о ней осталась память. И совсем незачем анализировать прошлое – в стремлении составить достаточно точный портрет. Ведь, по большому счету, вопрос-то здесь больше философский. Если на момент моих собственных – тогдашних – лет (совпавших со смертью матери), в памяти остались определенные о ней воспоминания – то есть большей частью та оценка ее поведения, которая исходит из моего собственного жизненного опыта,- то вполне можно так все и оставить. По крайней мере,- быть может так было бы даже честнее: ведь поведение мамы в какой-то мере было взаимосвязано с ее убежденностью относительно того, как это интерпретирую я. Причем «я» - это тот. Тогдашний мальчик. В тех – моих – годах. (То есть главным образом – отсутствие таковых).

А вот если сейчас – уже с позиции совсем других лет – анализировать то (запомнившееся) поведение мамы?.. Насколько я вообще правомочен сейчас это делать?..

Но даже если бы я вдруг и решился на это, то - как же быть с поправкой на время. В том плане – что этому самому времени свойственно искажать былые воспоминания. Память. И какие-то моменты способны стираться (вытесняться). А какие-то наоборот: представлены могут быть совсем в ином свете.

Своего рода – тоже задача.

## Глава 19

Если честно, мне нисколько не хотелось анализировать фигуру матери. И в первую очередь из-за того, что это было бы не честно по отношению к ней. Она всегда была за правду. Только в самые последние годы жизни слегка научившись оттенять какими-нибудь светлыми тонами эту самую правду. Хотя все равно – стоило собеседнику задержать акцент на интересующем его вопросе – и уже ничто не способно было сдержать откровения. И тотчас же спадала былая заретушированность. А предмет вопроса предстал таким, каким, собственно говоря, и был. Без ложного окраса.

Маме совсем не была свойственна хитрость. Мерзавцу и негодяю,-- мнение о нем - бросалось в глаза. Подлец, избегал встречи, потому как знал – он тут же услышит мнение о себе. В лицо. Трус... впрочем, трус удостаивался такого уничижительного взгляда – что и слов-то было не нужно.

Трудно было сказать: хорошо это или плохо? Но, помнится, я все время выговаривал матери, полагая, что необходимо скрывать собственные чувства.

Что это? От страха? (Но если боялся я – мать никогда, ничего – и никого – не боялась). От моей излишней интеллигентности? Но ведь и маму к пролетариату не отнесешь...

Но, по всей видимости, я здесь затронул достаточно спорную тему.

С одной стороны, практически безусловно следовало скрывать свое мнение. Проявлять, своего рода, дипломатичность. Да и зачем обижать другого человека. Тем более что он может быть через время исправится. Изменится. Выработает для себя иной мотив поведения. Другой образ соответствия.

Но уже совсем с другой,- определенную категорию людей – негодяев, жлобов, да проходимцев – именно таким способом и можно было «лечить». Урезонить. Защититься тем самым от них.

И когда мама бросала в лицо поддонку – что он поддонок: я внутренне торжествовал. Вера в справедливость – возвращалась ко мне. И какое-то время,- (запал во мне, к сожалению, пропал),- я ходил более чем уверенный в себе. И в готовности дать отпор любому «обидчику» - с каким-то даже внутренним вызовом: смотрел в глаза любому.

Однако за всей этой,- даже можно было бы сказать агрессивностью,- скрывалась какая-то (совсем необъяснимая в данном контексте) ранимость мамы. И ее отнюдь не женский характер – иной раз становился женским в иной, гиперболической степени.

Казалось, разрыдаться она готова по пустяку. Но в тот самый момент, когда удивленный (а большей частью – обескураженный) собеседник готов был протянуть руку помощи, мама преображалась. И на ее лице появлялась та маска, которая отпугивала даже самых уверенных в себе мужчин. Делая в их глазах из них ничтожество.

Но такую она была не всегда... Сейчас вот поймал себя на мысли, что ведь, пожалуй, это именно она научила меня терпению в отношении с другими людьми. И при этом никакой показной снисходительности! Любой, кто видел, должен вполне искренне заблуждаться по поводу вашего показного внимания. Точнее, все, что относится к слову «показное» - было скрыто от глаз. И таковым являлось только внутри. Меня. Или мамы. И здесь наблюдалось удивительное наше с ней единодушие. Никто никогда и ни за что бы не догадался, что думаем мы в момент общения с ним на самом деле. И повторюсь еще раз – вполне бы искренне заблуждался по поводу нашего расположения к нему. Нет. Никакого расположения не было. А за нарочитой заботой (контроль

игры было главное; то есть – ни в коем случае не «заиграться») скрывалось порой такое презрение, что думаю, узнай этот человек, что думаем мы о нем на самом деле – не выдержал бы жестокости этого мира.

И если честно, в какой-то момент я потерял возможность возвращаться обратно. И уже при любом общении – изначально был готов прощать человеку все его слабости. Относившись к нему – более чем снисходительно.

Причем, если у моего собеседника заметных слабостей не было – я вынужденно отыскивал их. Порой приписывая авансом. И какова же была моя неподдельная радость – когда таковые в итоге отыскивались.

Сейчас мне достаточно трудно сказать – насколько верно было такое поведение. (Причем оно не только «было», но и продолжается до сих пор). И здесь, - как и везде в нашей жизни, - по всей видимости не может быть какой-либо однозначности. Например, для собеседника это может быть и хорошо. Располагает к общению. Демонстрирует дружелюбие. Улыбка – привлекательность. Радушие. Ну и все прочее.

А если взглянуть иначе – мало ведь действительно умных и душевно тонких людей. И большинство из недалеких товарищей – способны к заблуждению. К неверному (и достаточно ошибочному) интерпретированию моего поведения. И показную глупость (лучше сказать – дурашливость) принимая за глупость реальную. А опять же, показную интеллигентность – принимая за слабование и бесхарактерность.

Против воли – но этаких «раздолбаев» приходилось «учить». «Зарываться» я никому не позволял. И если до поры до времени мог позволить быть добропорядочным (удивительный синтез слов: добро и порядочность), - взрывался, как только чувствовал что иной из недавних знакомых – готов сесть на голову.

Но конечно, мне отчего-то важно было создать образ себя этакого... чудака. «Забитого», и в своем роде беззащитного. Беззлобного, что уж точно.

К сожалению, жизнь таких поблажек мне не давала. А ведь так хотелось бы все время играть одну и ту же роль...

Да... этим всем – я был в маму. Черты ее характера щедро переходили ко мне. Заполняя бывшие нейтральными до того пустоты. И принимая некие специфические выверты сознания. Проявляясь иной раз в сущих безобразиях. (Но об этом вряд ли я готов писать сейчас. Тем более – моя фигура в контексте данного повествования – достаточно второстепенна. И необходима лишь только чтобы выделить да усилить (оттенить) роль матери. Ее образ. Ее – а не мой...).

## Глава 20

Иной раз я ловил себя на мысли, что, по сути, мне достаточно сложно в полной мере представить образ матери. Несмотря на наше почти ежедневное общение, мне, тем не менее, иной раз казалось, что я и не знаю ее совсем. Причем, на первый взгляд, и не должно быть никакой путаницы. Мама всегда была достаточно открыта. Не терпела намеков. Предпочитала (оппоненту) все высказывать в лицо.

Но вот именно с другой стороны, как раз здесь и способен было закрыться вопрос.

И главной темой для сомнений как раз и была ее искренность.

Но парадоксальность ситуации все же разрешалась достаточно просто. Поначалу, Людмила Аркадиевна нисколько не считала необходимым лебезить и заискивать перед кем бы то ни было. Самую жуткую правду она могла сказать в лицо. И если в моем случае (когда я, - редко, невероятно редко – проделывал нечто подобное), для меня было интересно: как поведет себя человек в данном случае? Другими словами, необходимость высказать правду – я возводил на уровень эксперимента. Быть может таким вот образом оправдывая свое поведение необходимостью изучения психологии (к которой всегда имел тайную страсть); ну уже как бы то ни было, внутренне я нисколько не был склонен выражать хоть какую-нибудь правду. Это было незачем. Общество к подобному было не готово.

Но вот мама видимо придерживалась другого мнения. И, мне помнится, она не только говорила, а еще точнее – бросала «правду» в лицо собеседнику, но и ей совсем было безразлично, что в итоге подумают о ней. Из двух вариантов: умереть – но за правду, и жить – но будучи предателем (а как раз подобная ассоциативная разнополярность в итоге у нее всегда и вырисовывалась), - мама всегда выбирала правду. Не задумываясь. Не принимая никаких компромиссов.

Но это все - было поначалу.

Уже за несколько лет до ее смерти (о том несчастном случае я сейчас не готов говорить), она несколько скорректировала собственные позиции. Причем, уверен, ее представление о соотношении правда-ложь – ничуть не изменилось. (Да и не могло измениться...).

И тогда все «изменения» сводились к некоему варианту необходимости выживания. (Потому как общество совсем уж грозило ополчиться на сторонников справедливости).

Однако, мне представлялось и еще одна версия происходящего. И заключалась она в том, что подобное поведение мамы (поведение последних лет жизни), когда она, как казалось, сдерживает себя при каких-то разговорах о справедливости – анализа – ситуации, - на самом деле

представляют из себя ничто иное, как достаточно тайный, смертный, и невероятно выверенный ход. И допустим, он был лишь с целью как-то поначалу успокоить, усыпить, бдительность оппонента. Так сказать, предварительно просчитать возможные ходы последствий. И с учетом того, что в своих расчетах она полагалась на математический анализ больше, чем на хаотичное предчувствие (хотя, стоит заметить, интуитивное восприятие она тоже не отрицала), - можно было сказать, что эффект от оказываемого таким образом воздействия – был зачастую несравненно выше. Но и – опаснее. Для самой же Людмилы Аркадиевны. Потому как – подготавливаясь сама – она точно также давала время на подготовку и собеседнику. Как бы изначально – предупреждая его. И в результате – он вполне успевал что-то придумать в качестве ответных действий. А потому, насколько я мог догадываться (а все вышеприведенное, конечно же, большей частью мои предположения, несмотря на свою нарочитую открытость, в отношении собственного ребенка – мама предпочитала выдержать дистанцию. Пусть иной раз и призрачную. Почти окончательно отказавшись от нее, когда наконец-то смирилась (условно... весьма условно....) с тем, что сын вырос), она в итоге – отказалась от подобного поведения. Вернувшись к моментальному парированию на колкость спарринг-партнера. (Возможные собеседники делились на два лагеря: дети – независимо от возраста и к которым отношение было снисходительно-соответствующее; и спарринг-партнеры, - по отношению к которым была исключительная мобилизация. До победы – над ними. Потом – как принято – пощада).

И все же – она была невероятно искренна в своей правоте. И я уверен – что это именно ее черта (несмотря на вполне естественное – природное – отторжение у большинства: такова природа человека), - вызывала и почти невероятное расположение по отношению к ней – того же большинства.

Мне даже думается, что у нее просто не могло быть врагов.

По крайней мере, их вполне можно было не принимать всерьез. А что касается друзей – то на редкость это были всегда люди не только уверенные в себе, но и добившиеся положения в обществе.

Впрочем, это был определенный круг. Элита общества. И мама к ней принадлежала.

## Глава 21

И ведь... больно... Невероятно больно становилось мне, когда я вспоминал... о маме... Какая-то цепочка невероятно грустных размышлений преследовала меня... Я как-то разом (и невероятно сильно) ощутил все то зло, что я причинил ей... Казалось, уже не было в моей

совместной жизни с ней ничего светлого, что брало бы инициативу с моей стороны... И наоборот, - я как-то невероятно сильно начинал очерчивать добро по отношению ко мне с ее стороны.

И оттого – чувствовал себя по меньшей мере мерзавцем...

И вот ведь задача: настолько, насколько я знал, - что никто кроме меня не знает лучше чем я мою маму (в плане понимания в любое мгновение подтверждающихся ее мыслей), - настолько же я знал, что и никто кроме меня не нанес за всю ее недолгую жизнь ей столько страданий, обид, не принес столько тревог да волнений... И ведь самое-то обидное было то, что, большей частью, с моей стороны это было все вымышленное, искусственное, наносное... Я нисколько (и быть может никогда) не считал в чем-то ее действительно виноватой (тогда как заявлял об этом постоянно); не верил что забота обо мне наносит мне вред (говорил! Постоянно говорил!).

И вот на фоне этого раскаяния выходило так, что раскаяние-то оказалось возможным только теперь, когда мамы уже нет.

И от этого я проживал эту сегодняшнюю жизнь с ощущением вины. Вины, от которой быть может, даже не хотел избавиться. Считая ее вполне закономерной платой за мое собственное прошлое поведение.

Тем самым вполне можно было сказать, что я в своем нынешнем положении стремился спрятаться за чувством вины. Рассматривая ее (вину) как своего рода щит для психики.

Но при этом выходило, что мой щит начинал отражать нападки совести не во вне, а внутри меня. Разъеда и превращая меня в полное ничтожество.

И это было действительно необходимой платой. И, вероятно, пока я ее не рассматривал в качестве таковой – никакого разговора о том, чтобы прекратить собственные страдания и не следовало даже начинать. А оставалось принимать происходящее как должное. То, что наверняка должно было случиться со мной. И если таковое не случалось раньше, то каким-то независимым от реального восприятия образом – это только усиливало собственные впечатления от случившегося.

А я действительно не хотел избавляться от чего-то подобного. Через какое-то время я даже стал испытывать своего рода удовольствие от страшных по сути ощущений.

Можно даже сказать, что я попросту отпустил вожжи недавнего контроля. И при этом, как неминусовое следствие, совсем не следил (не прогнозировал, как бывало раньше, когда я пытался просчитывать каждый шаг) за происходящим. Отдав его в какой-то мере на откуп бессознательного. Быть может даже – доверившись ему.

И при этом, конечно же, не предполагая, что может когда-нибудь случиться как-то иначе.

Вполне даже можно было предположить, что я наслаждался состоянием, в которое все больше и больше обращалась моя собственная психика. И даже притом что - то, что испытывал при

этом – ничего не напоминало как ужас, я не стремился обратно. Конечно же, ошибочно полагая, что все так и должно быть. При этом состояние, в которое я загонял собственную психику, было поистине ужасным и катастрофическим. Причем, насколько я мог осознавать второе – было как бы выделением – первого. Многократным усилением его. И уже как следствие – во мне стала разливаться волна страхов. Причем выражались они иной раз в таких позициях, по отношению к которым раньше я и не подумал бы вовсе.

Но самое обидное, что подобного рода расплата совсем не принималась в расчет моей психикой. И я с каждым днем все более и более ощущал, как скатываюсь в пропасть. Да даже не скатываюсь, а бросаюсь в нее. И это падение – я знал – остановить никто не сможет.

## Глава 22

По сути, Глеб (я) до «героя» не дотягивал.

Как будто все время что-то начинало мешать ему. Стоило только начать предпринимать какие-то поступки (в самом высоком значении этого слова), как тотчас же обнаруживалась невидимая сила, которая отталкивала его. Назад. В собственный ничтожный по сути – мирок снов и фантазий.

Точнее, можно было бы сказать, что только сны, именно сны, каким-то неподвластным объяснению образом способствовали тому, чтобы у Глеба Вайнштейна (на подобной фамилии настояла мать; Самуил Яковлевич Вайнштейн – был, кажется, ее двоюродный дядя. Что, в принципе, еще больше отдаляло от объяснения смысла выбранной фамилии) и в реальности наступил призрачный мир, увиденный им в сновидениях.

Причем, как-то так оказалось, что именно сны – каким-то невероятным образом формировали мировоззрение мальчика. Полновесные картины разыгрываемого во всех подробностях окружающего (вернее – псевдо окружающего) мира – маленький Глеб переносил и в свою реальную жизнь. И уже эта жизнь, жизнь, обогащенная миром иллюзий, фантазий, несбывшихся надежд – каким-то удивительным образом сплотилась с той, другой жизнью. Так что вскоре уже никто бы не смог поручиться: где был вымысел, а где – правда.

И тем более – сам Глеб.

Можно было даже сказать, что поначалу мальчик невероятно растерялся от всего подобного. Сказать, что раньше с ним даже в мыслях не происходило ничего подобного – значит не сказать совсем даже ничего. И он действительно не знал, что же ему необходимо было делать.

Причем, совсем нельзя было сказать, чтобы он испытывал какой-либо страх (по отношению к самой возможности сего факта). Скорее, он даже и не осознавал в полной мере всех

возможностей, открывающихся перед ним. Точнее даже – о возможностях он поначалу и не предполагал. Осознание их открылось ему уже позже. Когда Глеб (еще будучи достаточно юным человеком – ему и сейчас-то не больше тридцати, а тогда должно быть и вообще было лет 10-12, от силы 14), когда Глеб неожиданно понял, что по всей видимости, может начать извлекать и какую-то пользу из случившегося. (Ну, вернее, «не случившегося» еще, но уже, как говорится, на пути... на пути...).

Должно быть именно тогда маленький Глеб стал понимать, что совсем даже и не зачем противиться происходящему. А даже наоборот – вполне можно подчинить его себе. И даже не то чтобы подчинить (подчинение вполне предполагает все что угодно), а именно вжиться (с ним, в него), подменить свой (такой грустный мир) на другой. На мир собственных сновидений. Фантазий.

## Глава 23

А порой потусторонняя жизнь сновидений как будто выходила из своих границ... И тогда он бессознательно проецировал недавние сменяющиеся картинки (сновидений) в собственную, реальную, жизнь.

В таких ситуациях (наступление которых конечно же нельзя было предугадать заранее) Глеб с откровенной настойчивостью стремился ухватить убежавшее время; время, которое никто уже не вернет; время, которое возвращалось само... словно напоминая о том, что остались еще какие-то незавершенные задачи; и тогда недавнее сновидение вполне могло бы рассматриваться вроде как – возвращение в прошлое...

В такие минуты время словно выходило из своих привычных измерений. Затуманенная пелена недавних ситуационных переживаний (характеристикой срока которых было безвременье) словно вновь переходило в сознание; сознание, искаженное временной нереальностью; но на самом деле – все это было более чем реально...

Почти всегда в подобных случаях сновидения выступали в роли нечто, что служило напоминанием о совершенных ошибках.

А ведь и укора-то особого не было; точнее – та характеристика (происходящего сейчас передо мной) – напоминала скорее непрекращающуюся боль тревоги за совершенное... И почти всегда – мои прежние поступки (сливавшиеся каким-то незадачливым для меня образом в общую картину опечаленности бытия) непременно рождали непрекращающуюся тревогу, боль, беспокойство; причем это было настолько характерно (и ярко выражено), что у меня не оставалось и тени сомнений: как следовало правильно интерпретировать... свое прошлое...

И мама... мама в моих снах представляла таким образом, что я чувствовал незримый урок... Было еще тяжелее от того, что я тотчас же вспоминал и свои впечатления (от этого) в течении времени, когда мы еще были вместе. Ведь и тогда – было все точно также. Но тогда – я каким-то бессознательным образом (до сих пор убежден – не отдавая себе в полной мере отчет в происходящем) – вытеснял подобную характеристику, анализ действительности – из сознания; словно опасался проявить ласку, доброту, любовь, понимание – хотя бы; являя пример безжалостного негодяя (и подлеца), скрывавшего свои истинные (добрые, ведь действительно – добрые) секреты души; а вместо них – выбрасывая на поверхность все зло, весь негатив, - отчего-то убедив себя, что именно с этих позиций меня и следовало характеризовать.

И это было поистине ужасно.

Я не оставлял ни единого шанса на проявление человеколюбия (вообще любви к кому бы то ни было); отчего-то позиционируя себя в роли этакого хладнокровного убийцы. Который не убивает только в силу того что не подошло еще время – убить сразу; а растягивает смерть – на отдельные составляющие; предпочитая наблюдать за агониями мучившейся жертвы; жертвы, на роль которой каким-то страшным образом был выбран самый любимый и единственный человек; единственный человек, который понимало все от начала до конца, начиная от мотивационной интерпретации поступков, и заканчивая предсказательностью хода развития и появления мыслей.

И вот такому человеку Глеб отчего-то мстил со всей жестокостью.

Жестокостью, даже не свойственной ему; жестокостью напускной, жестокостью – вызываемой из самых глубинных слоев подсознания (где она скрывается до срока – у всех абсолютно людей); жестокостью... с которой отчего-то Глеб Вайнштейн непременным образом ассоциировал себя; и хотел чтобы ассоциировали другие.

И так выходило, что этой самой жестокостью Глеб наносил тяжелые раны самому близкому человеку; понимая, понимая при этом, что обрекает на страдания.. свою мать. Женщину, у которой, по большому счету, и никого больше (да и, по сути, никогда) и не было кроме него. И от этого становилось... еще больше.

## Глава 24

Людмила в который раз отгоняла мрачные мысли. И ведь не сказать, чтобы они всегда были таковыми. Нет. Совсем нет. Но вот так выходило, что ее привычка «не зацикливаться» на проблемах – не прекращало эти самые проблемы, а наоборот – вытесняла их; а значит (зачастую в последнее время) в самый неподходящий момент они накатывались на нее; и уже не было от них

спасения; и уже вскоре совсем даже ничего не хотелось, как только забыться самым отчаянным сном – в отчаянной попытке прекратить страдания.

Что были ее страдания? Чем они вообще могли быть? Она более чем отдавала себе отчет (и при самой минимальной доле размышлений – это осознание явственно представало перед ней), что ничего, что рождалось в ее подсознании (неким таинственным образом – совсем не спрашивая ее – переходя в сознание) не было «просто так».

У нее вообще ничего не могло быть «просто так». С самого детства подчинившись единому порыву: добиться положения в обществе, Людмила планомерно достигала своей цели.

Во всех ее движениях не было какой-то хаотичности; она сознательно отдаляла прочь тревогу; ни в коем случае не поддавалась на мельчайшие порывы беспокойства; рассчитывая с какой-то методичной планомерностью собственную жизнь. Приучив себя идти к цели – не останавливаясь на достигнутом. Понимая, что все, что она уже добилась – несравненно меньше того, что еще предстоит.

А оттого и характер ее принимал форму кремня. Который не стачивался (не позволяла!) от случившихся невзгод (в жизни какой женщины их нет?). И она... она ни в коем случае не позволяла себе разбрасываться по мелочам. Приучив ставить вполне реальные цели, чтобы добиваться их.

Можно даже сказать, что эту жизненную модель, модель собственного бытия, которую она постоянно даже не апробировала – а жила в ней,- Людмила выбирала сама. И оттого – не считалась она даже с мельчайшим проявлением слабости – ни в себе, ни в других; не требовала (и тем более не просила, просить она вообще не умела) к себе никаких поблажек; и не принимала таковых у других.

И вот с подобным мировоззрением Людмила Аркадьевна Штерн действительно выбралась далеко вперед, оторвавшись от тех, с кем когда-то начинала, и только какое-то незначительное время могла идти с кем-то (чаще это были коллеги-мужчины) вровень, а потом – отрывалась и от них.

Холодный, расчетливый ум, великолепное знание предмета занятий, умение изначально опережать действия других (видя на десятки ходов вперед и с гроссмейстерским мастерством рассчитывая предсказанность действий противников) в итоге привели к тому, что Людмила Аркадьевна вырвалась в достаточно явные лидеры, чтобы с ней вообще можно было попытаться кому-то даже пытаться конкурировать. Через какое-то время она получила приглашение работать в горкоме комсомола по делам молодежных организаций. (Уже были времена Перестройки, а потому партия как бы закрыла глаза на биографию; хотя, по сути, пребывание в тюрьме признанно незаконным, а брак с иностранным гражданином был и заключен и расторгнут органами КГБ; и это все даже наоборот – демонстрировало явно мученически-жертвенную роль моей мамы).

Однако, ни явно выраженный карьерный рост, ни по настоящему искреннее уважение со стороны коллег-мужчин, ни даже восхищение (граничащее на самом деле с потаенной завистью) женщин (тоже коллег) – не приносили того внутреннего успокоения, которое по всей видимости и можно было считать присутствием внутренней гармонии. Нет. Никакой тревоги, тревожности, и прочей симптоматики душевного разлада, свойственного психическим девиациям, у нее, конечно же, не было. Точнее – были, но она, как мы уже заметили (и что было, по сути, одним из ярчайших признаков ее характера) вполне сознательно заглушала их. Переориентировала (психоаналитики заметил бы – сублимировала) в работу. В ту деятельность, которой отдавалась со всей неистовостью страсти настоящей коммунистки, принадлежав (и это не только мое мнение) именно к той категории истинных коммунистов, первых ленинцев, которым была присуща поистине фанатичная страсть к достижению каких-либо результатов, и которые готовы были (не думая) пожертвовать жизнью – ради идеи.

Без каких-либо сомнений я могу сказать, что моя мама именно к подобным людям и принадлежала. Какие-либо шутки мои по этому поводу исходили, по большому счету, из общего восприятия действительности свойственного молодости. Даже – в то время – еще детско-юношескому периоду детства. Но на самом деле, и тогда и сейчас (сейчас – в значительно большей степени) ничего кроме уважения (в непреклонности отстаивания собственных позиций) подобное поведение у меня не вызывает. Я по праву гордился своей матерью. И эта гордость сформировала даже какую-то особую мою внутреннюю черту: уважение к людям, умеющим: а) отстаивать свою точку зрения; б) непреклонных – в своей настойчивости достижения результатов – в каких-то своих мировоззренческих позициях.

Я гордился своей матерью. А она – гордилась мной. И уже это скорей всего и позволило мне усмотреть те тайные механизмы, которые позволили в дальнейшем беспрепятственно «пробивать» оборону ее психики; так, что – где любой мог натолкнуться на достаточно явное (и всепобеждающее) сопротивление - восстающей против какого-либо вмешательства – психики (своего рода – психической защиты), в случае со мной – мама была бессильна. Я просто задействовал те природные механизмы, которые эволюционно запрещали какую-либо агрессию по отношению к собственному ребенку. И со всем неистовством (и недалекостью) детства – я этим пользовался. И уже именно это вызывало во мне сейчас самое искреннее раскаяние. Раскаяние, которое непреходящим потоком переходило в стремление хоть чем-то искупить свою вину. И уже тогда, по всей видимости, искупление – стремлением хоть как-то, хоть чем-то искупить вину перед покойной мамой – и были продиктованы эти... воспоминания о ней.

Но, по сути, действительно ли я мог таким образом загладить свое собственное поведение? Скорее, пожалуй, извлекаемые из подсознания воспоминание – было ничто иное, как стремление

оправдать самого себя; заглушить в себе – терзания, являвшиеся непременно следствием собственного поведения. Того самого поведения, изменить которое я не мог; не хотел; я очень искренне хотел бы – чтобы все, что случилось раньше, было по-другому. Произошло не так, а иначе. Чтобы только не отдал я – чтобы повернуть ход зарвавшихся в своем неистовстве стрелок времени – в обратную сторону; перевернуть их – хотя бы на десятилетие назад. Мне бы хватило. Уверен – мне бы этого вполне хватило бы, чтобы хотя бы успеть показать: я совсем иначе, чем говорил; делал; совершал.

Но безрезультатны попытки. Ни к чему не способны они привести. Ни к чему, разве только чтобы не совершать подобного впредь. Но уже и здесь – вырисовывалось вполне явственное противоречие. Потому как – поступки мои – являлись непреложным следствием мыслей, касаемых (и рождаемых в отношении меня) только одного человека – моей мамы. И они не предназначались совсем кому-либо другому. А значит – в сегодняшнем, нынешнем, времени – я совершал все те же ошибки. О которых буду раскаиваться – в будущем. Будущем, которое точно также будет ориентировано на прошлое. К прошлому. Будущее – уходящее не только корнями своими в прошлое. Нет и не будет никогда у меня настоящего. И это чуть ли не самая большая ошибка, совершаемая мной.

## Глава 25

Что меня еще, можно сказать, удивляло в маме (хотя, в данном случае, удивление находилось в каком-то синонимическом родстве, например, с восхищением),-- так это ее удивительное правдолюбие. У нее не было и мысли когда-либо сделать что-то, что хоть как-то могло противоречить принципам. Ее – принципам.

И, пожалуй, вполне уместно уже упоминавшееся сравнение с первыми коммунистами – ленинцами. По своей честности, стремлению к правде, и... какой-то необъяснимой внутренней открытости. Кстати, подобные черты перешли и ко мне. И уже ими я мог гордиться. И почти также переживать из-за этого. Потому что... потому что, к сожалению, психика человека (человека – в контексте единицы социума, общества), человека, объединившегося в массу – предрасположена к совсем иному поведению. Ведь в стадном чувстве (с проявлением которого так или иначе сталкивается каждый из нас) – нисколько не приемлемы какие-то гуманистически-цивилизованные нормы морали (морали – следствием которой является поведение); а потому – с передавшимися мне качествами – приходилось обращаться весьма и весьма осторожно; без надобности не выставлять их на показ. Иначе...

Но вот что, должно быть, вполне закономерно – у мамы почти никогда не было сложностей, присущих мне. Должно быть я все же был не совсем честен. Да и, иной раз, действительно вынужден был приспособливаться к окружающим. Она же, если предмет был красный – называла его именно таким. Я же – просчитывая возможную реакцию собеседника (и нисколько не желая переводить того в оппонента, или – что еще хуже – в противника) иной раз называл тот цвет, который был приятен ему.

## Глава 26

Ну и насколько на самом деле я мог поручиться за то, что все мои впечатления о маме – на само деле были истины? Ведь, по сути, никто и не дал бы гарантии. Но тогда уже – вопрос должен был заключаться несколько в ином; и становилась важна совсем не искренность (а тем более правдивость) каких-то моих впечатлений о прошлом. А что непременно выходило на первый план – важность личностной оценки, восприятия, эмоциональной составляющей.

И уже здесь я с любым мог поспорить. Ибо появилось передо мной таким образом не то, что может быть на самом деле, а именно то, что хотела моя мама чтобы было. И это намного важнее даже самой правды. (Правду еще необходимо понять, осознать. А для большинства из нас важно не то как выглядит картинка, а то, как мы думаем – что она выглядит).

## Глава 27

Мне нисколько не хотелось противоречить себе. И, тем более, как-то начинать перекраивать тот образ мамы, который уже превратился, по сути, в некую стереотипическую подоплеку в собственном подсознании.

И, тем не менее, я столкнулся с дилеммой: продолжать рисовать ее портрет в собственном воображении прежним образом – значит уводить (в том числе и самого себя) в несуществующие дебри. Сказать правду – создать точно такие же дебри – в помутневшем сознании.

Я должен был и дальше обманывать сам себя. Но вот на самом ли деле это был обман? Быть может это и была та правда, которую видел я?.. Сможет ли кто убедить меня в обратном?

## Глава 28

Мне все-таки хотелось спрятаться в свой мир. Почему-то подозревал я, что это был почти единственный выход – вообще выжить. Притом что, конечно же, никого не хотелось впускать к

себе. В свой мир. Мир, с недавних пор показавшимся мне как будто и не существующим. Вовсе. По крайней мере, я начинал серьезно сомневаться в надежности (и, главное, оправданности) его существования.

Была ли в том мире моя мама? Конечно же, была. Но вот в том-то и дело, что пока я опасался признаться себе в этом. Словно подозревая – случить такое, и рухнет единственная защита, стоявшая еще между моим прошлым и моим настоящим.

А все попытки «договориться» с самим собой – не только носили какой-то негативный оттенок, но и были вовсе бесперспективны.

А все дело должно быть в том, что я просто не мог писать дальше о матери – не вводя в повествование фигуру отца. Не того отца, который был на самом деле моим биологическим родителем. А... мужчину, которого я считал своим папой. И который, по сути, был выдуман мной. А потому – не знал о нем никто кроме меня. И мучило меня настоящее чувство вины – что так и не успел о нем рассказать я маме...

## Глава 29

И все-таки,- думал я,- насколько был прав я, что решился поведать о тайне сей? Ведь была это действительно тайна. Но насколько на самом деле она была таковой? Об этом точно не знал никто. Быть может даже я. И о том, что это было лишь бред моего воображения – говорило многое. Как, впрочем, и о том, что случилось нечто подобное на самом деле.

Я не знал. Не знал, можно ли мне говорить о том.

Но и не в силах больше держать в себе эту тайну – я решил поведать о ней. За что быть может когда-нибудь и придется раскаиваться.

В тот день... Впрочем, тот день ничем не отличался от других таких же дней. По крайней мере я находился во все том же (одном в последнее время) настроении. Точнее сказать – состоянии духа.

Моя мама пришла, помнится, с работы. Я тогда пребывал в некоем полете между двумя институтами (один из которых еще не закончил и ушел, а в другой еще не поступил. Тот, другой, кстати, позже я закончил. Не помню, упоминал ли об этом). Мое состояние... мое состояние, по сути, было ужасным. Полный разлад с собой. Полная, невероятно четко видимая мне, бесперспективность вообще существования. Мама даже не вмешивалась в мое состояние. Скорее

всего боялась помешать. Слишком большие надежды она возлагала на меня. Чтобы вот так просто взять и... (Думаю, любой вопрос с ее стороны адресованный мне – мог ей казаться способным обидеть меня. А потому она попросту молчала. Сама при этом – невероятно переживая).

А меня... меня попросту колотило изнутри. Тогда я еще так не пил. Почти не курил. Разве что наркотики? Но в последний раз таблетки употреблял я к тому времени уже несколько месяцев назад. Решив самостоятельно расстаться с подобной привычкой.

Но я не знал, что такое мое состояние – не подобие какой-то там «ломки» (которой у «любителей», подобных мне, и не могло быть – не те препараты). Так не хотелось списывать свое состояние на психику. Расстройство ее. Хотя, были ли какие иные варианты?

Все больше и больше я ловил себя на мысли, что начавшее происходить со мной не было «просто так», начавшись – из ничего.

А значит – должна быть причина. Причина, которую я пока не знал.

Страшней всего был какой-то невероятный суматошный бег всех моих внутренних органов. От которых – я подозревал – они могут долго и не выдержать. Причем, как помнится, больше всего я боялся сойти с ума. А то, что уже начал сходить – в это не верилось.

Да и с мыслями моими происходило тоже что-то страшное. Иногда создавалось впечатление, что они уже и не принадлежат мне. Как, должно быть, не принадлежу к себе и я сам.

И только обращение ко мне мамы иной раз выводило меня из оцепенения. И в разговорах с ней хоть на миг забывал, что со мной происходит.

Но это уже нельзя было оставлять «просто так». Я не думаю, что можно вообще прекратить подобный внутренний разлад. Но то, что нужно было пытаться – сомнений не вызывало. Просто не было возможности. Ибо всего лишь через миг после осознания сего факта – меня тянуло куда-то. Словно что-то выталкивало из того места, где прежде находился я. И уже не в силах совладать с собой, я – придумывая на ходу какое-нибудь дело (для объяснения маме) – выбегал на улицу. А что дальше со мной происходило – как будто и забывал я сам. Словно наступала временная амнезия.

Временная, потому как стоило мне возвратиться (само «возвращение» могло быть и через несколько часов, и через несколько суток),- и я уже все помнил. Но только с того момента, как вернулся.

Первое время я даже пытался противостоять (подобной способности) своей памяти. Но после понял – что сам ничего не смогу сделать. А к врачу... к врачу идти было как-то боязно. Боялся, должно быть, услышать какой-то диагноз. Но страх такой – понятен.

Но оказалось, что на самом деле я слегка переусердствовал в своих тревогах. И почти ничего более, чем простое недоразумение в этих самых тревогах и не заключалось. И быть может, даже более того – несли они в себе ту цепь разрешительного для души очищения, что, собственно, и было направлено на избавление от каких-либо устоявшихся тревог (если мы рассматриваем тревоги как некое явное зло) и волнений.

То есть другими словами, это свое новое состояние – решил обратить я в пользу себе. И отнести его, например, к некоему следствию внутреннего очищения личности. Очищению, являющимся почти обязательным следствием перехода на новый этап развития. И опять же, являющегося нравственным очищением меня – как личности...

## Глава 30

Я жалел, что мне не удалось ему должным образом впитать в себя всю мудрость родителей.

Ведь и отец и мать были уникальными людьми. Изначально не имея никаких предрасположенностей к тому, чтобы вырваться из рядов типичных обывателей - родителям (каждому по отдельности) пришлось пройти сложный путь. Вершина которого - это возможность быть самим собой. Позволить себе жить той жизнью, которой хотела бы жить душа. Без какой-то меркантильной подстраиваемости под чье-то мнение. Под мнение людей,-- зачастую даже не имеющих какого-то морального права править другими людьми. Ну хотя бы в силу собственной ничтожности.

Я всегда разделял людей на порядочных и на подонков. Также как всегда делала подобное разделение мать. И отец. И так же как родители презирали всех этих людишек (приспособленцев, стяжателей, и прочую мерзость), точно также к ним относился и я.

Правда, мои родители по-своему выражали (или - не выражали) протест и отчуждение к другим людям. В ином случае, в отношении кого-то другого, могло быть и невероятной силы уважение. В этом случае никто не скупился на похвалу. И если кто-либо считал, что другой это заслуживал - его возводили в самый величайший ранг доброжелательности, и такой человек неожиданно оказывался наделенный многими добродетелями.

Но и я не считал необходимым в чем-то сдерживать собственные эмоции. И если какой человек мне нравился - то в комплиментах недостатка никогда не было.

Конечно, было не все так просто. Были характерны частые перепады настроения. И недоволен я бывал намного чаще, чем радовался жизни. Но может быть я и действительно

радовался жизни. Но эта «радость» носила слишком специфический оттенок. И пусть она не совсем вписывалась в стереотипы реакции на радость, которые были приняты в обществе, но ведь я всегда был безразличен к каким-либо стереотипам. И совсем не собирался никогда походить на кого-то другого. Достаточно было самого себя. И можно было признаться, что я наслаждался одиночеством. Ну а почему нет? Уже давно я, например, вывел для себя - что мой собственный внутренний мир (со всей этой интуицией да интеллектуальным самосовершенствованием) -- намного значительнее и богаче по нравственному насыщению, чем я мог бы рассмотреть у кого-то еще. А если так,-- зачем же тогда отталкиваться от понимания других, чтобы выкристаллизовать те понятия, которыми, без сомнений, обладал? И тогда уже, достаточно было всмотреться в глубь себя -- чтобы и увидеть и понять многое из того, что наверняка никогда бы не разглядел у других. И учиться мог у себя же. Да и ведь, главное-то было не то, что было на самом деле. Главное всегда - это наша интерпретация этого главного. Только в зависимости от того, в какую сторону посмотреть, - зачастую от этого и зависела та или иная идейная составляющая. И совсем необязательно, что в чем-то мои рассуждения могли быть и не верны. И может быть на самом деле я что-то упустил. Но ведь почти всегда помнил о каких-то «спорных моментах» (а любые моменты легко могли показаться спорными хотя бы из-за того, что какого-то единого правила не существовало). И при случае действительно возвращался к ним.

Вообще, мне иногда казалось, что если бы кто-то когда-то решил писать книгу уже обо мне, - то в ней могло быть много мистики. Потому как, если что-то не укладывалось в устоявшиеся рамки - это легко относилось к неопознано-ирреальному. А значит и мистическому.

Но только вот мистики никогда во мне не было. Я даже неким образом чурался, сторонился ее. Может действительно чувствовал что-то в себе не обычное? А быть наоборот. Был настолько «открыт» для взоров других, что люди просто бессознательно боялись этой открытости. И оттого старались не замечать чего-то явного и просматриваемого. Обращая внимание на загадочные явления. Которых, конечно же, не было. Но людям так хотелось - чтобы они были.

## Глава 31

Я помнил свою мать. У матери было имя, которое так трогательно уносило его в прошлое.

Всю жизнь я боялся признаться матери в своей любви к ней. А она никогда не боялась проявлять свою материнскую нежность. А я... я всегда каким-то необъяснимым для себя образом боялся показать свои чувства.

Мать была единственной женщиной, которую я по-настоящему любил. В этой любви было все. Если бы какую женщину любили хоть на малую долю того, как в своей душе я любил свою

мать,-- эта женщина была бы самым счастливым человеком на свете. Но я боялся, я почему-то боялся показать свои чувства матери. Всегда я теперь будет раскаиваться в этом. В своих отношениях к матери я придерживался какой-то необъяснимой строгости. Боялся показать свои настоящие чувства. Боялся признаться в любви к той, которая дала мне жизнь. Я боялся этого. И этот страх был самым страшным моим проклятием.

Я не мог себя изменить. Наоборот, всегда, чем больше душа разрывалась от любви к матери - тем больше я напускал на себя какую-то непонятную, жуткую, страшную, необъяснимую (совсем необъяснимую) строгость. Как будто мама была виновата. Я обвинял ее всегда. Обвинял, совсем не задумываясь какую боль приношу ей этим.

Но все эти обвинения имели совсем необъяснимый и бессознательный характер. Но говорить так - значит еще больше признать свою жестокость. Свое бессердечие. Свою ужасающую жестокость в отношении самого близкого человека.

И всю жизнь я знал, что это будет висеть надо мной страшным грузом. Это сократит его жизнь. Память о всех своих поступках в отношении матери - тяжким проклятием висела надо мной. Это было то, что заставляло ход его собственной жизни пустить в самый невообразимый бег. Это то, что заставляло вместо минуты - проживать десять. Вместо часа - сутки. Вместо года - десятилетие.

Я знал, что долго не проживу. И сгорю также, как сгорали мои товарищи. И сгорю прежде, чем завершу когда-то начатое.

И только небольшое предчувствие еле слышно шептало о том, что это все будет не так.

Но в это уже не верил и я сам. А потому стремился успеть. Успеть... Успеть...

Я стремился успеть сделать хоть часть из того, что было мне предназначено. И совсем не знал - успею ли?..

## Глава 32

Все задатки того, каким Глеб стал в своей взрослой жизни - проявились еще в детстве.

Те, кому довелось знать маленького Глеба - подсознательно улавливали какое-то необыкновенное чувство любви к нему.

Не все могли в этой любви признаться.

Но даже те, кто как будто бы сознательно изгонял от себя душевную предрасположенность к Глебу, даже они сами для себя признавали, что это не так. И их чувствами навсегда завладел он. И любовь к нему навсегда поселилась в их душе.

Иногда она, быть может, пряталась в самых потаенных уголках души. Но никогда она не исчезала совсем. И это действительно было совсем необъяснимое чувство. В реальности,-- никто и никогда не смог бы до конца выразить то, что он испытывал по отношению к Глебу. Но его любили. Любили самой большой любовью, которая когда-либо могла существовать. И что было больше в этой любви: уважения, стремления слиться, ментально соединиться с ним, или просто это было скромное обожание его? Совсем это было неважно. Его любили. Любили все. И даже те, кто ненавидел - все равно любил его. Потому что его невозможно было не любить. Его совсем невозможно было не любить. Его только можно было... тихо ненавидеть...

### Глава 33

Невообразимо большая ошибка (от которой, заметим, он все же смог избавиться) Глеба была в том, что он всегда себя считал умнее других. Видимо, что-то такое он угадывал в себе, что бессознательно позволяло ему вести себя подобным образом.

Нет, конечно же, внешне он старался не подавать и вида - что это так. Наоборот. Он стал еще скромнее, чем был и без того. И он знал - что ничто уже не изменит его.

Но вот только ожидание какого-то удивительного будущего иной раз переполняло его. Это было то, что помогало ему выжить. Помогало ему вообще жить. И он знал, что когда-нибудь наступит и подтверждение этому.

И он готов был ждать. Он действительно готов был ждать. А пока он должен был работать. Он должен был очень много работать, чтобы приблизить это будущее. И он знал, что до поры до времени - говорить об этом не будет. Это была его тайна, которую он хранил в потаенных уголках своей израненной души. Он вообще многое вынужден был скрывать от самого себя. Тем более - он всегда боялся кого-то пустить в свою душу. Он не верил другим. И на фоне его доверчивости - это могло показаться действительно странным. Но, тем не менее, он все как-то и с опаской доверял другим какие-то свои признания и тайны. И это было так. И это совсем так не было. Люди узнавали о нем. Люди узнавали его. Люди, которым достаточно было сказать ему что-то просто хорошее... Он сразу проникался доверием к этим людям.

Глеб всегда был очень доверчивым. И большей частью происходило так, потому что до сих пор он продолжал жить в каком-то выдуманном мире.

Он всячески поддерживал незримое существование в нем этого мира. Это было что-то, о чем быть может он действительно боялся кому-то признаться. Не все были готовы принять это. Многие существовали в том мире, в котором существовал он - но не многие готовы были признать это. Но

он жил с уверенностью в том, что когда-нибудь ситуация изменится. Люди начнут обращать внимание на вечные ценности. И кто знает, быть может, он в чем-то и поможет им.

## Глава 34

Многомерность восприятия окружающего мира была самой желанной удачей Глеба. Это было то, с чем он бы никогда не расстался. Это было то, что, потеряв, заставит его лишиться необходимости дальнейшего существования. Потому что это было то, что ему как-то позволяло отличаться от других. Что позволяло смотреть на других под каким-то другим углом зрения. Что позволяло восторгаться какими-то невероятными для других радостями. Замечать их. Что помогало парить над временем. Порой, значительно раздвигая границы действительности.

Глеб знал, что подобное доступно не только ему. Но он также знал, то таких людей немного. И всегда испытывал какое-то необъяснимое чувство, когда угадывал в каком-то другом человеке наличие тех же способностей, которые были у него. Это было такое упоительное чувство парить над вечностью... Он всегда находил в этом что-то особенное. Недоступное (может и правда недоступное) для понимания большинства. Но он верил и знал, что этим способностям совсем невозможно научиться. Это было что-то, что давалось при рождении. И давалось, конечно же, не каждому. А потому он должен был всячески лелеять это состояние.

И Глеб трепетно к нему относился. Очень трепетно. Иной раз он боялся даже признаться себе, как он нежно любит в себе это чувство. И хоть знал, что потерять его уже не сможет, все-таки его психика испытывала свойственную подобным личностям ранимость и неуверенность. А потому он просто боялся о чем-то таком думать. Он просто жил.

.....

Он не боялся состояния какой-то потусторонности, в котором находился почти всегда. Можно даже сказать, что и окружающий мир он видел сквозь призму какой-то ирреальности. Что, в общем-то, совсем не мешало ему продолжать смотреть на мир подобным образом и дальше. Ну а почему это должно было как-то останавливать его? Почему? Совсем даже нет. Быть может и наоборот - наблюдать за другими с внутренним ощущением какой-то нелепости -- было необъяснимо упоительное чувство. И он действительно наслаждался им. Вот только немного пугало его, что это было не совсем... нормально. Ведь мир наверняка не был таким, как видел его он. Но, в принципе, он мог с полным правом и смириться с этим. Да и пусть, в конце концов, будет так. Ведь это было не более ужасно, чем смотреть на тот же самый мир с позиции какого-то реализма.

Именно реализм он не выносил и не смог бы терпеть ни при каких условиях. Так сложилось еще с самого детства. Просто когда-то он сам стал подозревать, что все на самом деле выглядит даже совсем иначе, чем это должно было быть. А раз так... А раз так - так чего же ему опасаться? Пусть все будет именно так. Пусть все останется именно так. А он уж как-нибудь справится с чувствами, которые иной раз переполняли его, мешая... в общем-то,-- мешая жить.

## Глава 35

Самое большое преступление, которое совершил в своей жизни Глеб (и вину за которое он пронес с собой всю жизнь, и так и не избавился от нее) было невнимание к близким. Люди которые его окружали - были теми, кому свое настоящее, истинное внимание он уделял в последнюю очередь. И зачастую выходило так, что большей частью этих людей уже не было в живых.

Как-то невообразимо нелепо это было все. И вроде как напрашивалась настоящая нереальность происходящего. Но это не было бы так плохо - если бы этого не было на самом деле. А на самом деле... На самом деле, именно так все и было. К сожалению, было. Ибо поздно, как-то все время слишком поздно спохватывался он. Понимая, что на самом деле - совсем не тем уделял он свое настоящее внимание. Глеб обращал внимание на людей, которые, в общем-то, этого внимания совсем не заслуживали. Ради них он мог порвать с близкими людьми. Мог начать относиться к ним настолько пренебрежительно, что у тех в глазах еще долго стояли слезы. А он, словно не замечая этих слез, продолжал выговаривать проклятия. Руководствуясь наспех придуманными обвинениями. Которые с самого начала были действительно вымышленными.

И страшнее всего было то, что, придумывая ложь, он сам верил в нее. И совсем ничто не могло поколебать его уверенность в том, что этого не может быть - потому что не может быть никогда.

И он верил этой лжи. И еще больше от этого - с еще большим от этого пренебрежением относился к людям, любовь которых к нему - была настолько сильна, что они готовы были терпеть любую боль от него. Подчас даже отказываясь верить в то - что это он причинял ее им. А когда не верить в это, казалось, уже было нельзя - просто заставляли себя или не думать в это. Ну а когда и это не удавалось (а нападки Артемьева грозили разрушить любую веру в любовь и справедливость),-- находили причины... нет, даже не смягчающие его вину, а каким-то невообразимым образом выставляющими неосознанную природу совершения им чего-то подобного.

Грех и беда Глеба заключались в том, что он слишком поздно понимал, какую боль он причиняет близким ему людям. Но тогда когда он делал это - он совсем не способен был остановиться. Даже наоборот - неподдельный гнев настолько завораживающе действовал на него самого, что он совсем не считал возможным как-то изменить свою судьбу. Элементарно остановиться (что было в его случае почти единственно необходимым. О том чтобы каяться и просить прощения мы сейчас даже не говорим). И он не только не был способен на что-то похожее. Наоборот. Он наоборот - расходился еще больше. И теперь это уже были не слезы в глазах близких (его матери, в первую очередь. Ей всегда доставалось больше всего). А искреннее бессознательное желание... смерти. Своей смерти. А о том, чтобы хоть как-то воспротивиться непрекращающимся обвинениям со стороны родного сына - у матери Артемьева и не могло возникнуть ни сил, ни желания. Она считала, что во всем происходящем ей следует винить только себя. И значит так должно быть, чтобы она терпела все эти муки, несчастья, проклятия со стороны ее родного сына. Значит так должно быть,-- считала женщина. Эта сильная женщина, которой боялись многочисленные подчиненные мужчины - считала себя не вправе сделать замечание родному сыну. Лишь иногда она просила его остановиться, подумать, взвесить все обстоятельства «за» и «против». Но приказывать ему она не могла. А он совсем не обращал внимание на ее слезы отчаяния. А то и смеялся в ответ на них.

Это был крест Глеба. Это был тот тяжкий крест, который суждено было нести ему до конца дней собственной жизни. И ничто не могло искупить его вину. Он сам отказывался верить в какое-то искупление. Ему не было прощения. И он это знал. Так почему же он не должен был страдать? Нет, он должен был страдать. Страдать так, как мало кто другой способен был страдать. И все, что с ним теперь могло случиться, все это должно было идти в зачет страданию. Но все что с ним могло случиться - это было настолько ничтожно, что свою вину Артемьев не искупит никогда.

Он знал это. Это был его крест. Это был его тяжкий крест. И он готов был, чтобы нести его. Ему не было прощения. Таким как он - прощения быть не должно. Он и об этом знал.

## Глава 36

У него было предчувствие, что, несмотря на все его желание успеть закончить труд своей жизни, о главном он так никогда и не напишет. Нет, сейчас не было какого-то депрессивного состояния, во время которого люди как будто бы особенно предрасположены ко всем подобным «предчувствиям». Почти совсем нет. Но он никак не мог избавиться от ощущения, что это будет именно так. И с этим нужно было только смириться. Чтобы продолжать работать дальше.

Может создаться впечатление, что для него жизнь заключалась в том, чтобы оставить что-то после себя. Какую-то память. Но как бы это не покажется странным - это все было именно так. Пусть, к сожалению, пусть к радости - но это именно так и было. И с этим тоже нужно было только смириться. Чтобы продолжать работать дальше.

В своем восприятии мира он каким-то образом всегда стремился не вступать с этим миром в какие-то явные противоречия. Он всегда был человек неконфликтный. И даже если когда случалось отстаивать какие-то свои права, свое достоинство, честь, заступаться за справедливость - Глеб все равно чувствовал себя неловко. Ему словно неудобно было обижать своих обидчиков. Он всегда был готов сделать шаг к примирению. Ему совсем не нравилось то состояние, которое было в его душе после всех этих распрей да склок. Для него намного был важнее мир. И так выходило, что, желая исключить из своей жизни даже вероятность возникновения каких-либо конфликтных ситуаций, - он просто в один момент сократил свое общение с внешним миром до минимума.

## Глава 37

В какой-то момент он почувствовал в себе уверенность в еще большей степени начать жить так, как это было необходимо в соответствии с его внутренней предрасположенностью.

Он понял, что жизнь слишком быстротечна. А еще быстрее уходит чувство того, какая на самом деле и должна быть эта жизнь. Ведь то, что каждый человек индивидуален - это истина давно известная. И за его шаблонностью нами очень часто не замечается истинный смысл. Ведь то, что таит она в себе - намного больше, чем видится нам изначально.

Глеб невероятно сильно чувствовал это. И ему не хотелось, чтобы так все пропадало. Чтобы исчезала какая-то не очень видимая составляющая, которая, по сути, была намного важнее чем то, что виделось (и было заметно) только на первый взгляд. А потому... А потому он просто решил позволить событиям идти в несколько ином порядке, чем тот, к которому они как будто и были предрасположены изначально.

Но ведь как раз изначально, все должно быть не совсем так. Совсем даже не так. Просто почему-то этого никто не хотел (или боялся) замечать.

А он решил, что он может себе это позволить. И потихоньку перекраивал окружающий мир под себя. Т. е. - в соответствии с тем миром собственного «Я», который, как ни крути, но был всегда для него намного важнее. Мир его собственного «Я» всегда стоял перед ним на первом

месте. Это был мир, в котором он мог позволить себе быть самим собой. И мог позволить себе наслаждаться этой возможностью быть самим собой.

По сути, мы говорим сейчас о наслаждении одиночеством. И это настолько было уникально, что совсем необязательно было как-то скрывать или чем-то стараться завуалировать подобное. Это как раз было то, что у него по сути осталось. То, что он бы не доверил никому. То, что во все времена было самое дорогое, что только и могло быть. Так почему же он тогда должен как-то отказываться от этого? Почему он должен заставлять себя приспособливаться? Обманывать? Лгать самому себе? Ведь обман он не выносил ни в каких вариантах. Обман невероятно сильно раздражал его внутренний мир. Он словно перенастраивал его на что-то другое. И разве мог он допустить этого? Разве был способен когда-нибудь кого-то предать? Ведь предательство, любое предательство, по сути, отнимало у него о самого себя. И никогда, никогда бы он не смог допустить подобного. Никогда.

А потому он начал жить так, как жил всегда. Но только может быть боялся в этом признаться...

А всегда он стремился постичь природу собственной психики. Составляющую психики. Своего «Я». Свой внутренний мир.

## Глава 38

Очень рано Глеб стал обращаться к пониманию законов мироздания. Очень рано. Почти все школьные годы прошли под знаком этих самых поисков. Постижения законов того, из чего складывается внутренний мир. Что им управляет. Что движет нами. Что действительно движет нами? Это было что-то, что поистине было невероятно важно для него. И от чего он совсем даже не мог отказаться.

Какое-то трезвое осмысление действительности было поистине то, к чему он всегда стремился. Это было настолько важно для него, что он совсем не допускал мысли подумать о чем-то ином. Это было невозможно. Это бы противоречило чему-то такому, что хранилось у него в душе. В самых глубинах его израненной психики. То, что могло кровотокающей раной, болью, невероятными по своей силе отзываться о нем. Как-то проецироваться на восприятие его окружающего мира. И что было в какой-то мере важно - на отношение окружающего мира к нему. Но он никогда, он никогда бы себе не мог позволить идти на поводу мира, который расстилался за пределами его сознания. Это было то, к чему он относился уважительно. Но что совсем было не в силах по-настоящему завладеть им.

По сути - это было страшное зрелище. Человек стремился погрузиться во внутренний мир. Мир, этот мир принимал его. А другой мир, внешний мир - также стремился заполнить его. И он иной раз наслаивался на него. Стремясь заставить жить по совсем иным (по своим!) законам и правилам. Но не так-то было просто справиться с ним. Это было совсем не просто. И на протяжении всей своей жизни он доказывал это. А ведь, по сути, он давно уже медленно сгорал...

## Глава 39

По природе он был наделен взрывным темпераментом. Это тоже было то, что ему приходилось сдерживать в себе. Своей этой внутренней агрессивности Глеб совсем не мог позволить выходить за те рамки, которые он сам для этого и определил. Это было бы просто невозможно. Недопустимо. Но иной раз происходило - во всей своей ирреальности происходящего. И тогда он превращался в совсем уж другого человека.

Но так было не всегда. Обычно он справлялся со своим темпераментом. Просто-напросто научился извлекать из него некую выгоду. Да, да, как бы это не показалось излишне претенциозным, он научился использовать свой взрывной характер - во благо. Во-первых, он, конечно, трансформировал его. А во-вторых, именно его темперамент был тем, что помогало ему делать жизнь необычайно живой и интересной. А иной раз он настолько импульсивно обрушивался на что-то, что казалось ему в этой жизни ошибочным, что другие люди с каким-то внутренним восторгом следили за выступлением «вершителя судеб», в образе которого он представал.

## Глава 40

По сути, он давно уже должен был научиться сдерживать свои эмоции. Но мы можем вступиться за него, заметив, что подобное положение дел - это и не должно было так-то уж отрицательно характеризовать его. Ведь это, в какой-то мере, были немного разные понятия. И что уже почти наверняка, - они совсем не должны были как-то влиять на взаимоотношения его с окружающим миром. Ведь намного было важнее его внутренний мир. Не то, как он строил взаимоотношения с миром внешним (что, впрочем, так же было важно), а намного, в несколько раз важнее было именно согласие, которое он достигал в результате этого взаимодействия.

И от чего-то подобного совсем не обязательно было избавляться. Ведь он любил свой внутренний мир. Это было то немногое (а может и единственное), в чем у него была единая гармония. К этой гармонии он слишком долго шел. И теперь столь трепетно к этому относился, что

совсем ему неважно было, какую плату приходилось за это платить. От многого, впрочем, он мог отказаться и сам. Но он никогда не боялся признаться в том, что в чем-то еще не совершенен. Разве можно было ему опасаться этого? Конечно же, нет. Просто он знал, что его борьба с жизнью не прекратится сейчас. А какое-то самосовершенствование совсем не должно замедляться (и, тем более, останавливаться).

И все же, несмотря на вполне явную гармонию, которой как будто бы было овеяно его жизнь, он, тем не менее, испытывал тревожность. В такие минуты (затягивающиеся, иной раз, на сутки) он задавался мучительнейшими вопросами о возможности собственного существования.

Но разрешить подобные (внутренние) противоречия было не так-то просто. Можно было сказать, что в большинстве случаев он был вообще бессилен что-нибудь сделать. Как-то заглушить боль, исходившую из него. Из его души, которая сотрясалась мучительнейшими переживаниями; и когда наступало такое время - Глеб не находил себе места. На какой бы то не было покой рассчитывать не приходилось. Он мучился. Страдал. И совсем был бессилён в попытке (неудачного стремления) завершить собственное страдание.

Казалось, у него был только один выход. Его смерть. Но... Но этого он тоже ведь стремился избежать. Разве мог он принять какой-либо добровольный уход из жизни, кроме как естественного. А что до этой ужасающей тревожности... Так он, по сути, и с ней научился справляться. Нет, нет, окончательно избавиться от нее он не мог. Но вот как-то трансформировать, преобразовать психическую энергию этой самой тревожности - он научился. И пусть это удавалось не всегда. И иной раз отчаянные и неутрачивающие мысли о самоубийстве окутывали его сознание, завлекая его в самые глубины собственного бессознательного. Это были самые тяжелые минуты для Глеба. Но быть может именно они закаляли его. Придавали ему дополнительные силы. Помогали... Они помогали ему жить. Выжить. Помогали ему создавать те самые произведения, которыми потом (он верил в это!) будут зачитываться читатели. И в том, что когда-нибудь произойдет так - была тайная надежда. Надежда... Которая, по сути, и было то единственное, что у него еще оставалось.

Что было кроме нее? Ничего! Но ведь жить было нужно...

## Глава 41

Да, на самом деле то, что происходило с ним - было уже даже не началом какого-то безумия. Это было самое настоящее сумасшествие. Торжество избавляющегося из-под какого-то контроля сознания. И совсем это еще не означало, нисколько не означало, что могло бы когда-нибудь получиться так, а не иначе.

И тогда уже выходило, что во многом - виноват и он сам. И совсем незачем искать виновных там, где их попросту не было. Да, наверное, и быть не могло.

И уже не думал он, что способен что-нибудь изменить в своей жизни настолько, чтобы ему самому это когда-нибудь понравилось. Ведь он словно медленно подписывал самому себе приговор. Растягивал подписание этого приговора. А быть может, он уже подписал себе приговор. Но когда этот приговор кто-то приведет в исполнение - не известно. Да и это, по сути, еще совсем ничего не значит. И уж точно - совсем ничего не означает. Потому как нисколько не важно, что состоится казнь. Важно, намного важнее - что она действительно состоится. И как-то противиться этому - бессмысленно. А воспрепятствовать - невозможно.

Он действительно чувствовал себя не очень спокойно в последнее время. Видимо его мозг уже не справлялся со все возрастающим напряжением. Но и остановится он не мог. И можно было сказать, что он сам оказался в таких условиях, когда уже и не нужно было оглядываться назад. Потому как почти ничего там не осталось такого, что принесло бы ему хоть малейшее успокоение. Там была только тревога, боль, разочарование за когда-то совершенные поступки, или и так не сделанные дела.

И это было действительно так. Но беда заключалась также и в том, что и будущего у него не было. Он боялся смотреть в свое будущее. Боялся когда-нибудь действительно оказаться там. И ничего не могло изменить подобную ситуацию. Ничто не могло хоть положительно повлиять на нее. Впереди была пустота. Позади была утрата. И рана. Огромная рана в его сердце. А душа, его израненная душа сжалась от этой боли, и казалось, ничто не было способно унять эту боль. Боль, в которую постепенно превращалось и само его существование.

Но ведь надо было как-то жить. Надо было как-то находить хоть что-то, за что можно было удержаться, уцепиться, чтобы выползти, выбраться из той пустоты, в которую проваливался он.

Но ему, видимо, пока не удавалось рассчитывать на это.

И он тихо страдал. На людях не показывая своего страдания. И отчаяния, которое овладевало им. Которое заполняло его всего без остатка.

Видимо, из-за отчаяния - он и жил-то все последние годы. Именно отчаяние вынуждало его жить дальше. И он не только не мог избавиться от этого отчаяния, но и оно настолько завладевало им, что кто другой давно бы опустил руки. Но ведь он никогда не хотел быть кем-то другим. И это еще было одно отличительное качество его, которое было присуще ему в своей исключительности. И как будто ничто не способно было изменить ситуацию. Да и должно ли было менять ее? Потому как ведь это была его жизнь. И она вполне могла быть именно такой, которая как раз и была у него.

## Глава 42

Я мучительно больно переживал то, что произошло с родителями. Я был уверен, что не додал им того тепла, которое в моем сердце предназначалось для них. Оно так и осталось там. Нерастроченным оно хранилось, вызывая в моей душе какие-то противоречивые чувства. Чувства, основными из которых была боль, рождаемая осознанием грехов прошлого.

Я знал, что мне следовало вести себя совсем иначе. Но ведь и я слишком торопил события, слишком хотел жить. А потому, -- то, что происходило рядом со мной - к моему теперешнему сожалению выпадало из сферы моего внимания.

Тогда мне почему-то казалось, что ничего страшного не происходит. Я как будто был уверен, что всегда при желании смогу вернуться назад, к тому, что было недоделано мной. Но так выходило, что проходили годы - а я продолжал жить исключительно будущим. Помня, конечно же, помня о прошлом. Но получалось так, что все эти мои воспоминания, совсем как будто и не говорили мне, что нужно вернуться назад. Довести до конца то, на выполнение которого появлялись лишь намеки. Эти намеки исходили из моего сердца. Которое совсем еще не было испорчено так же, как моя душа. Душа, которая искала извечного покоя. Но я как будто намеренно делал все противоположное, чтобы только этот покой не наступил.

Я не оглядывался назад. Тогда я совсем не оглядывался назад. Я стал делать это намного позже. Когда уже произошла та трагедия, последствия которой я теперь всегда буду ощущать в себе. И уже ничто не способно будет привести к какому-то моему искуплению вины. Потому что этого не может наступить. И не потому, что я этого не хочу. Хотя, наверное, можно сказать и так. Потому как я обязан жить с ощущением вины. Вины за мое прошлое. Это было мое искупление. И об этом я буду вспоминать всегда. Потому что я просто обязан помнить об этом. Память, -- это невольное подтверждение того, что во мне еще осталось что-то чистое и светлое. А искренность... Искренность, к сожалению, здесь совсем и не причем. Можно вполне быть искренним, и при этом оставаться законченным мерзавцем. Это та философская правда, которая неизбежна в своей правоте. Которая существует совсем независимо от того, что кто-то об этом думает. Которая как бы сама по себе. И которая невольно притягивает внимание с одной стороны - своей какой-то незащищенностью. А с другой... А с другой это то, от чего мы совсем не можем избавиться. От которой мы и не должны избавляться. Потому что... Потому что - зачем тогда жить?...

## Глава 43

Что я еще помнил о маме? В чем-то может повторюсь, но ведь на то они и воспоминания, чтобы появляться совсем неожиданно, и в этой своей собственной бесконтрольности отдавать часть себя – другим.

Моя мама всегда жила с настойчивой идеей достичь такого положения, при котором могла бы быть «сама собой». Она с детства не привыкла подстраиваться ни под чье мнение. Всегда высказывала все, что думала. И от того - получила славу жесткой и прямолинейной женщины. Впрочем, как и женщины, которая всегда знает что хочет. И также все знали - что всегда будет так, как это хочет она. И она никогда не будет подстраиваться ни под чьи интересы. И поэтому столько же, сколько было у нее друзей (очень много), почти столько же было и врагов. Хотя враги, большей частью, были ничтожны уже по своей вражеской сути. Потому как, если человек был наделен хоть частицей разума и здравого смысла, он, конечно же, признавал (хотя бы в душе) «требования» Людмилы Аркадьевны. А значит, и конфликтовать с ней не стремился, предпочитая просто уйти с ее пути.

Это была властная женщина. Властная настолько, что подчиняла себе даже тех мужчин, многие из которых и сами были бы не прочь подчинить (и подчиняли) себе других. Но все они сникали перед ее волей. И даже самые отчаянные - волей неволей - признавали ее волю. Да ей и невозможно было не подчиниться. Она обладала какой-то невероятной энергетикой. Причем,-- положительной энергетикой. А окружающие чувствовали исходящее от нее излучение добра и справедливости. И все знали точно: зла она никогда никому не сделает. А несправедливости - не допустит.

Можно было сказать, что чувство правды было в ней развито настолько, что невозможно было найти человека, который бы не проникся сопричастностью к этой правде. Желая в чем-то походить на женщину, которая возвеличила правду и человеческое достоинство - в высший идеал добродетели. Ибо только таким должен был быть, по ее мнению, человек. Он мог не получить такого образования как она, мог заметно проигрывать в развитии интеллектуальных способностей, но вот врать, обманывать, изворачиваться - он не мог. Он не должен был. Иначе тотчас же к такому человеку у Людмилы Аркадьевны пропадал всяческий интерес. Она с презрением смотрела на тех ничтожных людишек, которые стремились самоутвердиться за счет других. Но никогда мама не позволяла даже намеком кого обидеть, высказавшись об его несостоятельности как личности. Тех, о ком она так думала, они, словно угадывая это, обходили ее стороной. Избегали появляться перед ней. Потому как ее взгляд тотчас же высвечивал в них все те людские пороки, которые заключались в их тщедушном мозжечке.

И наоборот. К людям, которые захватывали ее своей искренностью, свободой в суждениях, широтой взглядов, уверенностью,-- она относилась как к равным. Она дружила с ними. И для них - это было важнее всех наград или степеней общественного признания.

Людмила Аркадьевна Штерн была уникальной женщиной. Но она ни за что бы не согласилась, чтобы кто-то считал так. И не любила, чтобы кто-то пытался говорить ей о какой-то ее «исключительности». Лесть она не выносила ни в каких проявлениях. Мама была уверена, что все, что она добилась,- добилась исключительно благодаря своему труду и упорству.

В детстве ей приходилось трудно, но она никогда никому не говорила о своих трудностях. И не потому, что не доверяла. А просто считала, что никому это неинтересно. Людмила росла в том окружении, когда ее интересами и увлечениями никто не интересовался. Она лишь помнила что старалась все всегда делать на отлично, чтобы заслужить расположения, похвалы, и дальше чтобы ей позволили учиться. Она понимала, что только знания откроют ей дорогу в другой мир. И училась, не покладая рук. И должно быть, именно трудности и закалили, выкристаллизировали характер девочки. И когда она выросла (а росла она, повторюсь, с неиссякаемой верой в необходимость каких-то изменений, которых могла добиться только с помощью знаний и образования), то и стала Люда именно той Людмилой Аркадьевной, которую многие теперь знали, и еще больше - боялись. И никто, конечно же, никто из тех, кто когда-то усиленно пытался как-то унижить, поиздеваться, показать свое превосходство над ней - не достигли и десятой доли того, что удалось Люде. Людмила стала большим начальником. И теперь многое зависело от ее решения. И она наконец-то получила признание своим заслугам. И смогла стать самим собой. Но вот работала она теперь (и «над собой» в т. ч.) еще больше. И совсем не позволяла себе отдыхать. Потому что,-- там, где другие могли довольствоваться уже имеющимся, Людмила не останавливалась на достигнутом, стремясь подниматься все выше и выше. Так ей было привычной. Да она и не могла иначе. Ведь как я уже отмечало, мама принадлежала к плеяде тех «ленинских соколов», которые всецело отдавали себя работе и заботе о других. И возможно вся трагедия этой женщины была в том, что она многому верила из того мифа, который методично выстраивала советская власть. И даже получалась и сама на каком-то этапе своей жизни (как только более-менее подросла) приняла участие в становлении и совершенствовании этого ленинско-коммунистического мифа. А быть может, в этом и не было такой уж трагедии. Почему это обязательно должна быть трагедия? Ведь Людмила Аркадьевна действительно верила в партию и правительство. Как верила и в светлое будущее (которое обещала эта партия и правительство). И это было общее в то время следствие идеологической установки, которой обрабатывались все жители советской империи. А Люда еще с школьных лет проявляла интерес к комсомольско-партийной жизни. И в отличие от многих (кто просто использовал подобную активность для того, чтобы пробиться, решить какие-то свои

меркантильные интересы) Люда всегда верила в коммунистическую утопию. Верила и когда была секретарем пионерской организации, и комсомольской, и когда стала партийным работником. И была ее вера сильна именно уверенностью в том, что сможет она сделать что-то, что даст радость другим людям.

И хотела она заботиться о других людях. И не жалела сил (совсем не задумываясь над тем, что должна она когда-то отдыхать), заботясь о благосостоянии народа. И это были совсем не пустые слова. И не шаблонные фразы. Такими они стали из-за тех, кто использовал партию в каких-то своих целях. Но совсем не такой была моя мама, Людмила Аркадьевна Штерн. Она искренне верила, что сможет помочь своему народу.

И даже после того, как советский строй рухнул, она, словно еще по инерции, продолжала заботиться больше о других, чем о себе или собственной семье. На первом месте для нее всегда была общественная жизнь, общественные интересы. И поистине это была боль этой сильной женщины. Потому, как только вся правда о происходившем в стране обрушилась на нее, она не выдержала. И если еще жила, то только благодаря своей воле, характеру, закалке...

## Эпилог

Но вот насколько (был должен решать я) реальная правда отличалась от вымысла, изложенного выше? Ведь, по сути, писал я и не совсем, чтобы правду. Хотя и такого уж обмана было немного. Так – расхождение кое в каких деталях. И на самом деле, вполне могло произойти и так.

Почему нет?

(Родись быть может я при этом в другом месте и у другой матери).

А еще я понял, что значительно переусердствовал в желании отыскать правду. И, по сути, не было в этом желании почти ничего. Даже быть может и самой правды. Потому как знал я, что в варианте со мной – эта самая правда может быть весьма и весьма болезненной. Хотя бы потому, что ее (правду) и не было, по сути. А была лишь видимость; бутафорская правда; вымысел... Действительно – вымысел.

И ни с чем нельзя уже было по-настоящему согласиться. Ну, например, взять хотя бы мое неосуществимое желание иметь отца. Не того, который и так был. А скорее поиск (и прежде всего, конечно, желание иметь) отца – мог вполне уходить корнями к тому мифу о других так называемых «настоящих» родителях, которые (не раз думал каждый ребенок) существуют; но с которыми по каким-то причинам – разлучены.

И вот уже задача найти этих самых «настоящих» родителей, по всей видимости, и простирается чуть ли не на все время существования человечества.

Причем задача изначально не выполнимая. Ведь этих самых «настоящих родителей» конечно же, нет.

Но мысль об их существовании – прочно входит в подсознание ребенка. И сопровождает его на этапе любых переходов от младенчества – юности – зрелости...

От этого не так-то легко избавиться.

По сути – и невозможно.

И уже как следствие доказательства сего факта – и те «невероятные» поиски, которые предпринимало я.

Должно быть уже понимаю сейчас, попытка вымышленной жизни вымышленной матери (со всеми этими несуществующими отцами) – не иначе как доказательство сего факта. И мне кажется, что будь я еще более настойчив в своих поисках – непременно можно было бы достичь до какого-то более интересного результата.

И уже отсюда, вполне исходило общее мое стремление жить в вымышленном мире. Мире иллюзий. Иллюзий, порой, и не возникающих даже. А вроде как уже изначально существующих.

Сергей Зелинский

2004 год.

© С.А.Зелинский. Неопубликованный дневник. Том 2.

Искупление.